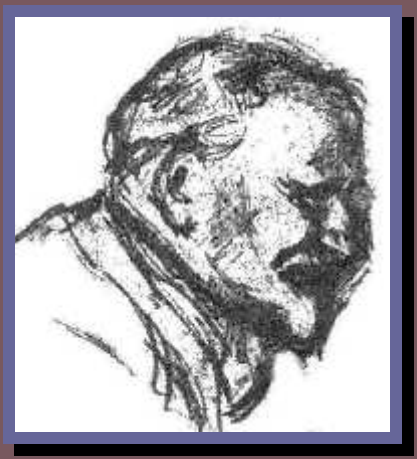
ЗАРУБЕЖНАЯ РОССИЯ

RUSSIA ABROAD
PAST AND PRESENT



Александр Кондратьев (1876-1967)

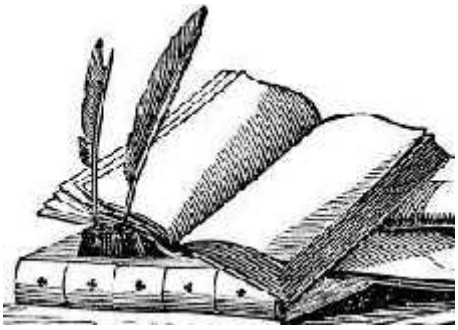
№ 3, 2016

Charles Schlacks, Publisher

ЗАРУБЕЖНАЯ РОССИЯ

RUSSIA ABROAD
PAST AND PRESENT

№ 3, 2016



CHARLES SCHLACKS, PUBLISHER
Idyllwild, California, USA

ЗАРУБЕЖНАЯ РОССИЯ
RUSSIA ABROAD
PAST AND PRESENT
№3, 2016

Editor / Редактор

Yelena Dubrovina / Елена Дубровина (USA/США)
yelena_dubrovin@yahoo.com

Assistant editor / Помощник редактора:

Larisa Gusovsky / Лариса Гусовская
lgusovsky@gmail.com

Editorial Board / Редакционная коллегия

Dmitry Bobyshev (University of Illinois, USA/США)
John Bowlt (University of Southern California, USA/США)
Brett Cooke (Texas A & M University, USA/США)
John Glad (University of Maryland, USA/США)
Vadim Kreyd / Вадим Крейд (University of Iowa, USA/США)
Margarita Ophee-Mazo (Ohio State University, USA/США)

ISBN-13: 978-1523879014

Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present is published
Annually by Charles Schlacks, Publisher, P.O. Box 1256, Idyllwild,
CA 92549, USA. Email: schlacks.slavic@greencafe.com

Copyright © Charles Schlacks, Publisher
All rights reserved
Printed in the United States of America

On the cover / На обложке: Александр Кондратьев.
Рисунок П. Либеровского, 1946 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИСТАЯ СТРАРЫЕ СТРАНИЦЫ…

ПОЭЗИЯ

Георгий Гребенщиков
Иван Павлович Умов 10
Иван Умов
Der dichter spright 11
Бывают благостные встречи… 11
Предки 12
Старинный вальс… 12
Неизменный сон 13
Забытый сон 13
Чужестранцы 14
О, если б знали вы… 14
Стучат, глядят в мое окно… 14
Пустой, лицемерный… 15
Перелетные птицы 15
Петр Ковалевский
Иван Сергеевич Хвостов 17
Иван Хвостов
Мой друг, стихи мои… 18
Орианда 18
Родина 18
О, помолись… 19
Россия 19
Аддис-Абеба 21
Джибути 22
Когда мысли полны… 23
Александр Браславский
У всех святых… 24
Я через ночь плыву… 25
Лира 25
Когда на нашей улице… 26
Ты для бесцветной глубины… 26
Как прежде холод… 27
Когда летящий с крутизны… 27
Рыдают кошки… 27
Нам дорог дом… 28

Андрей Блох
Ты что-то тихо мне сказала… 29
На позабытом полустанке… 29
Я полюбил простой ручей… 29
Замер вечер… 30
Далеко от больших дорог… 30
Церковный сумрак… 31
Безвестные монахи… 31
Поезд 32
Она ушла от нас нежданно… 33

ПРОЗА

Борис Вышеславцев
Париж. Рассказ 35
Леонид Ганский (Гатинский)
Совесть. Рассказ 46
Надежда Городецкая
Смерть Тани. Рассказ 50

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ
РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ПРОЗАИКИ

Юрий Мандельштам
Рассказы Михаила Матвеева 57
Рассказы Игнатия Леграна 60
Двое (Ирина Немировская) 64
Прощай Фомбон (Эммануэль Бов) 67
Дети Изгнания (Надежда Городецкая) 70

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

СТАТЬИ

Вадим Крейд
«Он – страна, после него душа очищается» 74
Александр Карпенко
«Курган» Ивана Елагина 98

ВОСПОМИНАНИЯ

Виктор Бандурко
История одной судьбы 110
Дмитрий Бобышев
Текст о Человекотексте 121
Главы из трилогии «Человекотекст»
Парижские открытки 127
В «Русской мысли» 137

ПРОЗА

Нора Файнберг
Марки острова Фиджи 144
Наталья Крофтс
Встречи. Рассказ-Мозаика 151
Елена Дубровина
Одиночество 162

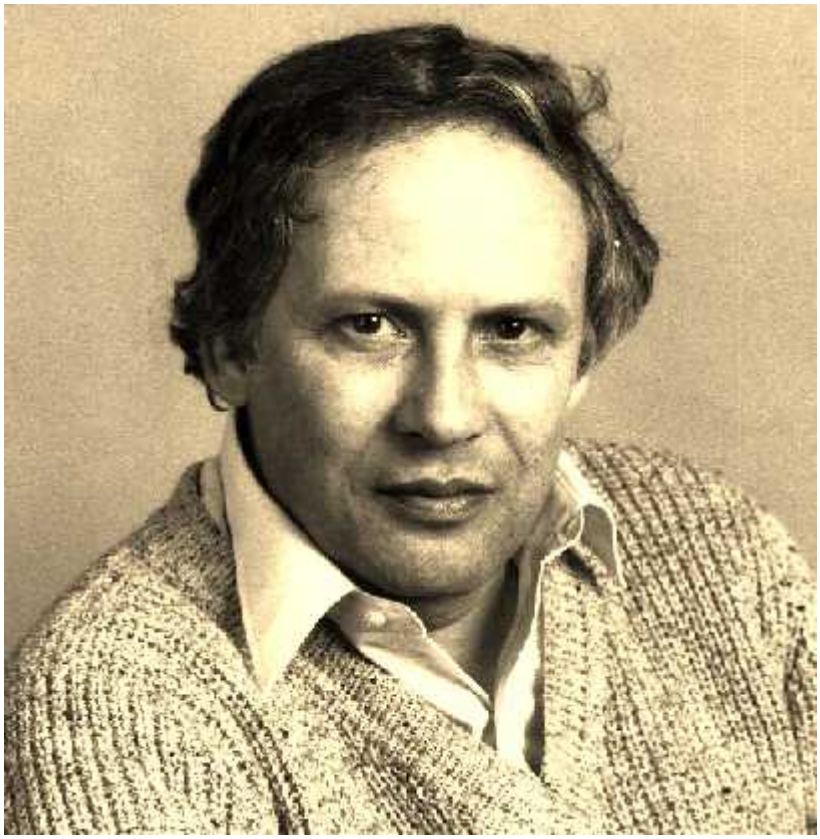
ОБ АВТОРАХ

Виктор Бандурко 179
Андрей Блох 180
Дмитрий Бобышев 181
Александр Браславский 182
Борис Вышеславцев 183
Леонид Гатинский 184
Надежда Городецкая 185
Георгий Гребенщиков 186
Елена Дубровина 187
Александр Карпенко 188
Петр Ковалевский 189
Вадик Крейд 190
Наталья Крофтс 191
Павел Либеровский 192
Юрий Мандельштам 193
Иван Умов 194
Нора Файнберг 195
Иван Хвостов 196

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Обложка книги Ивана Умова	9
Обложка книги Ивана Хвостова	17
Автограф А. Браиловского	29
Елена Краснощекова. Рисунок Парижа	35
Михаил Матвеев. Фото	56
Игнатий Легран. Фото	59
Ирина Немировская. Фото	63
Эммануил Бов. Фото	66
Надежда Городецкая. Фото	69
Павел Либеровский. Портрет А. Кондратьева	73
Александр Кондратьев. Фото	78
Сергей Бонгарт. Портрет Ивана Елагина	97
Виктор и Мария Бандурко. Фото	109
Семья Бандурко. Фото	116
Федор Бандурко, отец Виктора. Фото	117
Выпуск кадетов. Фото	118
Федор Бандурко с женой и дочерью.	119
Визит Виктора Бандурко в Россию. Фото	119
Игорь Тюльпанов. Портрет Д. Бобышева	120
Журнал «Континент»	130
Письмо З. Шаховской Д. Бобышеву	131
Автографы З. Шаховской Д. Бобышеву	132
Д. Бобышев и Н. Горбаневская. Фото	143
Статья о Д. Бобышеве в «Русской мысли»	143
Юрий Топунов . Портрет Н. Крофтс	150
Юрий Топунов. На пляже	154
Юрий Токунов. Ночное Свидание	159

**РЕДКОЛЕГИЯ ЖУРНАЛА ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕТ ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
БОБЫШЕВА С 80-ЛЕТИЕМ,
ЖЕЛАЕТ ЕМУ ЗДОРОВЬЯ
И НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!**



**РЕДКОЛЕГИЯ ЖУРНАЛА
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
ВАДИМА ПРОКОПЬЕВИЧА КРЕЙДА
С 80-ЛЕТИЕМ, ЖЕЛАЕТ ЕМУ
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ
И ДОЛГИХ, ПЛОДОТВОРНЫХ ЛЕТ
ЖИЗНИ!**

Алексей Коротюков. Портрет Вадима Крейда

Обложка книги стихов Ивана Умова,
изданной в 1949 г. в Америке.

Георгий Д. ГРЕБЕНЩИКОВ (1883 – 1964)
Париж, Франция

ИВАН ПАВЛОВИЧ УМОВ

Иван Павлович Умов не является эмигрантом в буквальном значении этого слова; вернее, он представляет собою счастливое исключение среди потерявших родину. Потомок одного из декабристов, выросший в родовом имении своего отца, героя Плевны, на привольном Поволжье, где в пору его детства и юности культурную атмосферу его семьи создавало близкое соседство поместий, в которых жили и творили Державин, Карамзин, Аксаков, граф Сологуб и другие. Умов с юности воспринял культурные традиции и получил хорошее воспитание.

Окончив Симбирский кадетский корпус, затем военно-инженерное училище в Петербурге, он переменил военную карьеру на востоковеда и, по окончании Лазаревского института восточных языков в Москве, перед самой революцией был назначен вице-консулом в Александрию. И только что обосновался он на берегах Нила, как события изменили, верней – разрушили Основные Законы России, и Императорские консулы за рубежами остались не у дел. И. П. Умов автоматически превращается в человека без родины в Египте.

Однако знание европейских и восточных языков открывают ему двери не только в среду египтян, но и в пределы среднеазиатский и европейских литератур, а блестящее музыкальное образование дает ему, как пианисту, возможность преподавать музыку и успешно выступать с концертами перед широкой публикой. Это обеспечивает ему материальное благосостояние. Знание арабского, персидского, грузинского, турецкого, сирийского и других языков вводят его в семью ближневосточных племен, как равного. Знание же английского, французского, немецкого, итальянского, испанского и русского могли бы послужить ему дипломами на вселенское гражданство. Счастливо женившись и имея возможность дать детям лучшее образование, он, казалось, мог бы не скучать по мутной Волге и туманным всероссийским весям, но сила заложенной в нем культуры и непоколебимая любовь к родному народу оказались сильнее и притягательнее всех благ европейской цивилизации и экзотики восточных стран. В течение многих лет, наряду со стихами, написанными и напечатанными на разных восточных и европейских языках, И. П. Умов больше всего писал их все-таки на русском языке.

Иван П. УМОВ (1883-1961)
Александрия, Египет

DER DICHTER SPRIGHT[1]

Поэт говорит о природе,
О тайнах вседневных чудес,
О вечной духовной свободе
И чистой лазури небес.

Поэт говорит, но не внемлю
Словам необычных речей:
Сердца закоснелые дремлют
Под плесенью будничных дней.

Лишь тихо деревья вздыхают,
Когда в их тени он бредет
И в лад головами качают
Под песню, что странник поет.

* * * * *

Бываю благостные встречи
Одной прародины сынов,
Когда в словах чужих наречий
Вдруг прозвучат живые речи
Средь жизни мертвенных песков.

Так иногда у перевала
Два путника из разных стран
Под гул грозы, под гром обвала
Друг другу вверят, что скрывала
Душа в огне сердечных ран.

Так иногда ручей проворный,
Свергаясь с льдистой высоты,
Сольется вдруг с рекою горной,
И странник у тропинки торной
Находит редкие цветы.

---

[1] Говорит поэт (пер. в нем.)

ПРЕДКИ

От кристаллов камней драгоценных,
Мы храним любовь к прямым углам:
Прям и остр, и угол хат смиренных,
И веков величественных храм.

От цветов нетленное наследство –
Склонность к краскам, к радугам лучей
И растений мирное соседство –
Лист зеленый – радость для очей.

Мы, как рыбы, любим дождь и воды,
Океаны, дали без границ,
И приемлем в счастии свободы
Мир созвучий от веселых птиц.

И готовы мы раскрыть объятья
Тварям всем, породам всех зверей;
Чада праха, все родные братья,
Круг единый матери морей.

* * * * *

Старинный вальс поет слова разлуки.
Я вновь с тобой о прошлом говорю,
И призраку протягивая руки,
В твои глаза бесплотные смотрю.
На утре лет судьба нам улыбалась
У вешних вод разлившейся реки,
Нелепою разлука нам казалась,
Раскаты гроз так были далеки!
Один, вдали страдающей отчизны,
Средь вихрей бурь лишь чудом уцелев,
Я по тебе свершаю песней тризны
И шлю, как вальс, рыдающий напев.
Опять с тобой…. О, горькое блаженство!
Ум шепчет мне, что оба смертны мы,
Но сердце вновь поет про совершенство
Там, вдалеке от жизненной тюрьмы.

НЕИЗМЕННЫЙ СОН

Все тот же сон – далекая Россия!
К тебе одной летит моя мечта,
Влечет твоя родная красота,
Зовут поля, твои леса глухие,

И серых дней напевы дождевые,
И вечеров осенних долгота,
Унылых рощ багрец и пестрота –
И зимние сугробы снеговые!

Я вновь живу средь отроческих грез,
Вновь чувствую, что мир земной не тесен…
Далекий звук знакомых с детства песен

Дарует мне поток ненужных слез.
В чужой среде, где сердце холодеет,
Оно в любви к отчизне молодеет.

ЗАБЫТЫЙ СОН

Забытый сон: угрюмый небосклон…
Нагая степь – распутие племен…
Верблюжий рев и острый скрип тележный,
Здесь вождь-монгол раскинул стан ночлежный,
Стенаньем жертв и кровью упоен.

Забытый сон: Шопена вальс… Балкон…
Усадьбы мир… Даль нивы безмятежной…
Но смерч взметен! Вновь клен и ряд колонн –
Забытый сон.

Из тьмы времен плывет забытый сон:
Вновь перейден двух жизней Рубикон…
Чрез море звезд, летя в простор безбрежный,
Впивая свет чистительный и нежный,
Вне сущности, вне чисел, вне времен
Вновь видит дух, над плотью вознесен,
Забытый сон…

ЧУЖЕСТРАНЦЫ

На нас отчужденности давней печать,
Нам общей струной не звучать!
Гостям мимолетным с различных миров
Ни скорби чужой, ни томлений, ни слов
Душой никогда не понять!

В холодной толпе, средь рассеянных встреч
Удастся порой подстеречь
Глаза, где сияет родная мечта,
Узнать в незабвенной улыбке уста,
Подслушать заветную речь.

– Но только на миг обольщен человек –
В семье чужестранец навек –
И вновь он один, как пустынь бедуин,
Пред маревом ложным, где в скуке равнин
Ни гроз животворных, ни рек.

* * * * *

О, если б знали вы, как больно сердце бьется
Под шум дождей ночных, под шепот вечных дум,
Что мать – твой лучший друг – на зов не отзовется,
Что сердцем ты – старик, не нужен и угрюм!

О, если б знали вы, что русский на чужбине
Не понят, одинок, всегда живет в мечтах
О липах и дубах, о вьюге на равнине,
О белых лебедях на заливных лугах!

* * * * *

Стучат, глядят в мое окно
Друзья, умершие давно.
Во тьме несутся мимо
И стыд, и боль души моей –
Все, что в дымах сожженных дней
Увы, непоправимо!

Но впереди сияют дни.
Не все потушены огни,
И божий мир не тесен.

Я знаю: дань отдав страстям,
Еще взлечу я к небесам
На крыльях вольных песен.

* * * * *

Пустой, лицемерный и лживый,
Зачем привлекает нас мир,
Где души не страстны, не живы,
Где пленников горестен клир.

Где только порою, как эхо,
Безгрешных и вольных миров,
Звон чистого детского смеха
Разгладит морщины рабов.

С улыбками радуйтесь, дети,
Надежда неведомых лет!
В нас – тайны грядущих столетий,
В нас – предков обманутых свет.

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

Мы дети России, бездомные птицы,
Мы бедствуем всюду, под небом всех стран.
Летят разоренных скитальцев станицы
В Египет, в Алжир, на седой океан.

Нас видели в Смирне у дряхлой мечети,
И в Римском Палаццо, в старинном окне,
А матери наши, а малые дети
Тоскуют о нас в незабвенной стране.

И мучит нас вечным, безмолвным укором,
То матери облик во мраке ночном,
То призрак сестры с угасающим взором,
То с плачем о хлебе дитя под окном.

Обложка книги стихов И. Хвостова,
изданной в Брюсселе, в 1960 г.

Петр Е. КОВАЛЕВСКИЙ (1901 – 1978)
Париж, Франция

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ХВОСТОВ

Русское зарубежье дало много поэтических дарований. Русские поэты-эмигранты сгруппировались в крупных центрах, где они не только питались великим прошлым русской поэзии, но и соприкасались с западноевропейской культурой. Иван Сергеевич Хвостов не принадлежит ни к одной из зарубежных групп. Он был «поэтом-отшельником», оторванным от литературной среды. Но тем сильнее, и часто скорбнее, звучат его слова о далекой родине.

Как у всякого настоящего поэта, родник вдохновения находит свой исток в любви, так и у Ивана Сергеевича лучшие его стихи навеяны его любовью к верной спутнице жизни – Наталье Владимировне Хвостовой. Эта вдохновляющая его тема проходит через его стихотворения молодых лет, военного времени, борьбы за честь России в Белой армии и в изгнании.

И. Хвостов много работал на благо своей новой родины Абиссинии. Но нельзя русского поэта оторвать от русской стихии. Поэзия «часть души», как он сам писал, а душа его была там, в далекой, но, в тоже время, близкой по воспоминаниям родине.

И. Хвостов не принадлежит ни к одной поэтической школе. В его поэзии есть отголоски великих русских поэтов, строки, навеянные Тютчевым, но он не стремился создавать что-то новое, завоевать себе место поэта. В своих стихах он изливал свою душу, и только после его смерти через его творчество вполне выявился образ этого рыцаря долга и чести.

Человек глубоко верующий, он мало касался в своих стихах вопросов веры, так как слишком глубоко переживал их, но Библейские темы его всегда затрагивали, и он посвятил им ряд поэм и переложений.

Во всем творчестве И. С. Хвостова чувствуется его глубокая культурность, принадлежность к той элите, которая создавала Россию и русскую культуру и служила ей не за страх, а за совесть. Долг Зарубежья помнить о таких людях и хранить то, что у них было самого ценного – их произведения, дающие нам возможность оценить их высокий духовный подвиг.

2-9-1959 г. Париж

Иван С. ХВОСТОВ (1889-1955)
Аддис-Абеба, Абиссиния

К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ПОЭТА

* * * * *

Мой друг, стихи мои ведь это часть души
И лучшая из всех, мне кажется, частица.
Огонь, трепещущий в нерадостной глуши,
В полночной, страшной мгле мгновенная зарница.

Пускай же жжет огонь сердца толпы людской,
Пускай лишь для себя нанизываю строчки,
Я с ними чувствую, что крепче я душой,
И прохожу смелей я жизненные кочки.

Декабрь, 1918 г.

ОРИАНДА

Какая ночь! Какая мгла кругом!
Свинцовых туч нависло покрывало.
Но в тьме иной, но в сумраке другом,
Мне кажется, сознанье побывало.
Но сумрак тот казался мне мрачней,
И мгла кругом горела безотрадно.
Казалось, свет давно потухший дней
В той страшной тьме погаснул безвозвратно.
И я в ней был. Мгновенья иль века?
Как можно счесть, когда безгранно время!
Но в памяти нависло ее бремя,
И тьма в душе осталась глубока.

17-XII-1918 г.
В карауле Охраны Вдовств
Государыни Марии Федоровны

РОДИНА

Белая степь,
вся покрытая саваном,
снится мне часто.
В ней затерявшись,
ушли города
и заснули…
И смертью,
голодом жадным,
распутством и кровью,
покорством, моленьем
полон их сон…
Родина, родина!
В странствиях дальних
только тебя я любил
и искал… и жалел…
Только с тобою
я жизнь свою мыслю
и счастье!..
Родина!.. Родина!..

28-2-1922 г.

* * * * *

О, помолись, чтоб в дни тревоги
Тебя Господь бы укрепил,
Чтоб не остаться на дороге
Без утешенья и без сил.
О, помолись, чтоб в час страданья
Была б душа твоя чиста,
Чтобы под гнетом испытанья
Не меркла светлая мечта.
И перейдешь земную долю,
Не оступившись до конца,
Неся неблекнущую волю
К стопам Далекого Отца.

21-XI-1923 г.
Берлин

РОССИЯ

Пучина темная морей
Легла, как пропасть между нами,
И небо чуждыми звездами
Горит над головой моей!
И все ж, вечернею порой
На север взор мой обращая,
С какою пламенной мольбой
К тебе, далекая, взываю.
Ничто. Ни солнца яркий блеск,
Ни воздух гор, ни моря плеск,
Ни гроз – гремящая стихия –
Не заменит тебя, Россия!

Когда верблюдов караван
Проходит длинными рядами,
Меся громоздкими ногами
Песчано-жгучий океан,
Когда взлетевшие орлы,
Паря недвижно надо мною,
Следят, как молнией стрелы,
Блеснут газели за скалою, –
Я знаю, в душу не проник
Пустыни многоокий миг,
Не стерли новые картины
Мне образ северной равнины!

И ярко-золотая пыль,
И горы, ставшие на страже,
Все растворяется в мираже
Степей, где хмурится ковыль…
Где речки синей полоса
Бежит меж берегов отлогих,
Где голубые небеса
Горят на куполах убогих,
Где, что ни взором обоймем,
Родной, как скатерть, чернозем,
Покрытый, как волшебной дрожью,
От ветра шелестящей рожью…

Где в светло-пепельной пыли,
Как бархат, скрывший всю дорогу,
Чирикнув, прячут воробьи
Свою внезапную тревогу.
Где меда сладкий аромат,
Когда идешь межою узкой,
Болотистый, где к пруду скат,
Поросший ивой – пальмой русской,
А в вечер – колокольный звон,
Лампадки свет, земной поклон,
И нежная, как сон, прохлада
Аллеи липового сада…
А над рекою белый дом
В кустах разросшейся сирени,
И странно бегающие тени
Под неподвижным лопухом,
Березы девственная грудь,
Белея в рощице дубовой
Все повторяет: «Не забудь
Отчизны с мачехою новой.
И, жизни видя пустоту,
Люби малейшую черту
Своих былых воспоминаний,
Своей любви, своих страданий».

9-VI-1925 г. Аддис-Абеба

АДДИС-АБЕБА

Днем уныло. И печальней
Развалившийся тукул.
Не сроднятся с грезой дальней
Эти крики, этот гул.

Безотрадна и убога
И природа здесь сама,
Как пустынная дорога,
Как забытая тюрьма.

Так неряшливо покорны
Толпы черные людей.
Нет, и песни не задорны
В безгармонии своей.

Но зайдет лишь за горою
Равнодушный солнца лик,
Только странной тишиною
Оборвется жизни крик,

И колдуя, и чаруя,
В небо выплывет луна,
Восхищенный, не могу я
Оторвать тогда глаза.

Будто сказочная фея
Прикоснулася жезлом.
Все таинственно, бледня,
Изменяется кругом.

Полусветы, полутени
Разбегаются вдали.
Чьи-то дивные виденья
Притаились, залегли.

И невольно забываю
Я действительность свою,
И тогда я все прощаю
Незагадливому дню.

25-1-1926 г.

ДЖИБУТИ

Снова синь передо мною,
Моря лепет, моря плеск.
И серебряной каймою
Излучился солнца блеск.

Берег весь, как светлый гарус,
Вышит золотым песком,
Самалийский темный парус
Лишь чернит его пятном.

Ярко-пестрые тюрбаны,
Бронза мускулистых тел,
Гармоничный и гортанный
Голос в море что-то пел.

Разбежался так нарядно
Белый город под горой.
А на все бросает жадно
Солнце луч свой огневой.

6-1-1926 г.

* * * * *

Когда мысли полны невеселого,
Когда то, что мы ждем, только жалобы, стон,
Не приходит ли часто вам в голову,
Что во сне мы живем, а что жизнь – это сон?
Боже мой, что же тут невозможного!
Так таинственны сны, так таинственна ночь,
Хоть во сне видим много мы ложного,
Но, а днем мы больны и нельзя нам помочь.
Разве днем не бывает кошмарного?
Эти яви согнать не хотелось порой?
А во сне, нет ли счастья угарного?
Миг прожить и не знать ни минуты одной.
Так сознайтесь, что вам драгоценнее,
Мрак ненастного дня, или ночи привет?
Я ж скажу, что одно сновидение
Увлекает меня, мой покой и мой свет.

9-8-1926 г.

Александр БРАСЛАВСКИЙ, (1891 – прим. 1972)[2]
Париж, Франция

* * * * *

У всех святых, терпевших на земле,
Прошу благословенья
На жизнь, на то, чтоб в здешней тесноте
Писать стихотворенья.

На то, чтоб это бремя, как они,
Терпеть во имя Бога,
Чтоб выводить мои пустые дни
На лучшую дорогу.

Растет трава и пьет дыханье рос,
И сохнет в летнем зное,
Желтеет осень, а зимой мороз
Ее под снегом скроет.

Но если солнечный небесный свет
Траву растит и греет,
Умрет в земле ее зеленый цвет,
Когда трава истлеет.

Благословляет летом птичий гам
Зеленые дубравы,
Чириканьем, и щебет небесам
Провозглашает славу.

Но осенью поблекнет зелень и
Тогда с холодным ветром
Умолкшая певица полетит
В страну тепла и света.

Невозмутимое сиянье зимних звезд
Торжественно осветит

---

[2]Часто печатался под псевдонимом А. Булкин

Умолкший и осыпавшийся лес,
Стволы, сучки и ветви.

Неоспоримо высшее добро
Для всех на этом свете –
Равно любить небесное тепло,
И дождь, и снег, и ветер.

Смиренно принимая благодать
Земного треволненья,
Ужасную минуту смерти ждать
Без страха и сомненья.

* * * * *

Я через ночь плыву назад к утру.
Меня до лодки провожает вечер.
Я, отплывая, думаю, что встречу
В пережитом оставленных подруг.

Когда же узкий парус в лунном свете
Раскроет одинокое крыло,
И набежит на мой высокий лоб
Мечтательных воспоминаний ветер, –

О будущем взметнутся гребни волн,
О птичьем пенье в недоступных странах,
И желтый луч ударит из тумана
Томящегося сердца моего.

ЛИРА

Что лира? Понял я – скелет.
Но как любовницу младую
Ее боготворит поэт,
Уродливую и худую.

Касается ее костей
Неизменяющей рукою,
И скрежетом ее страстей
Он миру не дает покоя…

* * * * *

Когда на нашей улице цветы
Раскроются блестящими кругами,
Из-за угла спокойно выйдешь ты,
Стопою легкой освещая камни.

И стебли закачаются вокруг
Твоих летящих ног, от пыли серых,
И облачко слетит на крылья рук,
К твоим локтям, прозрачным пальцам белым.

* * * * *

Ты для бесцветной глубины небес
Оставила вещественную скуку,
Ты плаваешь среди сиянья звезд,
А я к тебе протягиваю руку,

И я напрасно силюсь отыскать
Те безмятежные поля покоя,
Где встретит ровная твоя рука
Того, кто быть счастливей недостоин.

До утомленья шарю в темноте,
Но мне исхода нет, и нет ответа.
Я только слышу: в звездной высоте
Беседуют попутные кометы,

Да вечно неспокойные моря
Рассказывают берегу о глуби,
Да красная вечерняя заря
Баюкает усталых и голубит.

Что, если эти звезды, море ночь, –
Все, все по твоему распоряженью –
Стараются мне как-нибудь помочь,
Смирить мою тоску недостиженья.

Что, если этот нехолодный ветр,
Прозрачного эфира колыханье,

Передает мне добрый твой привет,
Приносит легкое твое дыханье.

Как хорошо в пустыне темноты
Тому, кто избран и любим тобой.
Спасибо, что не оставляешь ты
Меня на произвол судьбы земной.

* * * * *

Как прежде, холод, дождь и ветер.
Как прежде, в поисках ночных
Я потерял тебя на свете,
Теряю явь, врываюсь в сны…

Свою рассеянную память
Оберегаю, а ее
Уже охватывает пламя –
Воображение мое.

* * * * *

Когда летящий с крутизны
Хватается рукой за ветку
Из солнечной голубизны
К нему несутся волны света.

Пред ним раскрыта черным склепом
Пустой земли ночная тень.
Над ним – сияющее небо
Прекрасный озаряет день.

Ужасен холод гробовой,
А все, что есть на этом свете
Дрожит и бьется под рукой,
В натянутой, зеленой ветви.

* * * * *

Рыдают кошки, как больные дети
На поднебесных крышах, а в окне
Слепой фонарь на перекрестке светит
Наперекор рассвету и луне.

А в комнате, при свете желтой лампы
Распластанный над ворохом бумаг,
Придавленный к столу лохматой лапой
Мечтатель хочет не сойти с ума.

И ждет напрасно, ждет неутомимо,
Что пущенная точную рукой,
Звенящая струна промчится мимо
И не достигнет цели роковой.

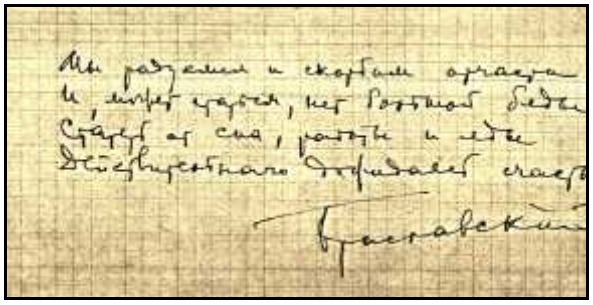
* * * * *

Нам дорог дом, но ближе и дороже
Случайные пути из дома в дом.
Я думаю, никто из нас не может
Прожить всю жизнь в своем дому родном.

Опасный путь, не видный издалека,
Зовет к себе, и дом родной забыв,
Уходят слабые походкой легкой
Неясными дорогами судьбы.

А каждый сильный ищет поединка,
Уходит в чащи, горы и моря:
Там звери и нетающие льдины
О неизбежной смерти говорят.

И каждый погибает так, как может,
Борясь с непобедимою судьбой.
Пусть каждому в его борьбе поможет
Его надежда, вера и любовь.



Автограф Александра Браславского

Андрей БЛОХ (род. ок. 1896 – умер после 1930)
Париж, Франция

* * * * *

Ты что-то тихо мне сказала,
Но воздух рассекли свистки,
Я вышел с шумного вокзала
В уснувший город у реки.

Глядел на мокрые дороги,
На отблеск тусклых фонарей,
На вход гостиничный убогий
С мигавшей лампой у дверей.

Казалось, я в глухой темнице
Судьбой оставлен навсегда.
А где-то, как большие птицы,
Летели с криком поезда.

1926

* * * * *

На позабытом полустанке
Свежо, безлюдно, тихо, тихо.
Лишь телеграф звенит как склянка,
Да на ветру шумит гречиха.

Да под навесом бьется овод
И хочет вырваться на волю,
И на столбах поющий провод
Куда-то тянется по полю.

И два заброшенных вагона
Стоят как два слепца печальных
Под синевою небосклона,
Тоскуя о дорогах дальних.

1927

* * * * *

Я полюбил простой ручей,
Прозрачный и прохладный,

И ровный плеск его речей,
В тиши томительных ночей
Мне песней был отрадной.

Но в летний зной ручей иссяк,
Не плыли в небе тучи,
И опускался душный мрак
Под вечер в высохший овраг,
Где вянул куст пахучий.

И солнцем обожгло траву,
И птицы пели тише,
И ночью, как в забытом рву,
Сова во тьме звала сову,
И пробегали мыши.

1927

* * * * *

Замер вечер над долиной,
Тень в саду легла темно
И дрожащей паутиной
Занавесила окно.

И кругом на смену света
Замерцали огоньки,
И шарманка пела где-то
В синей дымке у реки.

И расцвеченные перья
Плыли по небу легко,
И тянулся мир за дверью
Бесконечно далеко.

* * * * *

Далеко от больших дорог
Лежит забытый городок.
Там свежий сад и старый храм,
Там ранний сон по вечерам.

Там среди площади платан
И тихо плещущий фонтан,
И часто козлик и свинья
Пасутся до захода дня.

Когда ж порой автомобиль
Промчится, поднимая пыль,
Куда-то в солнцепёк спеша,
Как осужденная душа, –

Все с сожалением глядят,
Как незнакомец мчится в ад,
И следом молятся в тиши
О мире для больной души.

* * * * *

Церковный сумрак. Мирная прохлада.
Немой алтарь.
Дрожащий свет негаснущей лампады.
Теперь, как встарь.

Здесь шума нет, и сердце бьется глуше
И не болит.
Здесь много горя выплакали души
У древних плит.

Старинный храм – защита от бессилья,
Приют от битв,
Где ангел божий смертным дарит крылья
Для их молитв.

* * * * *

Безвестные монахи
В молитвенной тиши
Хвалу слагали Богу
От полноты души.

И ветер их подслушал
И рассказал реке,

И эхо отозвалось
В туманном далеке.

И громко повторили
Веселые дрозды,
И тучка заучила
Для золотой звезды.

И сосны подхватили
Высоко на горе,
И странники пропели
Поднявшись на заре.

И были все созданья
Пред Богом хороши,
И Господа хвалили
От полноты души.

1927

ПОЕЗД

Во тьме ночной заныли тормоза,
Два фонаря раскрылись, как глаза.
В безмолвном поле длинный поезд стал
И после бега тяжело дышал.

В немых вагонах хлопнул ряд дверей.
У окон лица сонные людей
Глядели в мрак, полуотдернув шторы,
И наполнялись ветром коридоры.

И воздух с поля, свежий и сырой,
Будил и жег холодною струей,
И шепот шел: «Где мы? Закройте дверь!
Который час? Где мы стоим теперь?»

Но не было вокзальных фонарей,
И только запах ночи и полей,
И ропот рос в вагонах: «Где же мы?
Зачем стоим средь непроглядной тьмы?»

И смутный страх, непобедимый страх,
Высоким пламенем вставал в сердцах,
И за вагоном оживал вагон,
И убегал далеко в поле сон.

Вдруг громкий голос произнес со шпал:
«Какой-то человек на рельсах спал,
Искал ли смерти, просто пьян ли был,
Его с разбега поезд раздавил».

В вагонах шум стихал. «Самоубийца!»
Спускались шторы. Исчезали лица,
Свисток раздался, и фонарь кивнул,
И гулко дрогнув, поезд потянул.

Вагоны были тихи и темны,
В тепле, под стук колес, рождались сны,
И вещи пели песни дальних странствий,
И поезд мчался, как звезда в пространстве.

1930

* * * * *

Она ушла от нас нежданно,
Как летним вечером звезда,
И как-то верить было странно,
Что так уходят навсегда.

И мы стояли в тихом храме
Без умилительной тоски,
Как будто в жизни перед нами
Пути прозрачны и легки.

И яркий луч влетел поспешно
Сквозь расцвеченное окно,
Казалось, здесь ничто не грешно,
И все для радости дано.

И были светлые мечтанья
Правдоподобно хороши,
И мы молились без вниманья
За упокой ее души.

Елена Краснощекова (Россия). Париж.

Борис ВЫШЕСЛАВЦЕВ (1877-1954)
Женева, Швейцария

ПАРИЖ[3]

Рассказ

На дворе была весенняя ночь, тихая, ясная. Мы возвращались с тяги. Звезда Венеры указывала нам путь. Сколько русских охотников и мечтателей любовались вечерней и утренней звездой, слушая шум разлива, голоса лесов и полей! Они грустили, надеялись, любили, как и мы, и томились тревогою осеннего пробуждения…. Мы шли молча, задумавшись, в том особом настроении, какое бывает только русской весною, с ее долгими сумерками и медленным таяньем снегов…

Но дома сразу исчезла всякая тоска: приветливо пылала кухонная печь, и шла хлопотливая жизнь, подвластная домашним божествам. И так весело было отвечать на расспросы и рассказывать друг другу о том, как и с какой стороны тянули вальдшнепы и почему было неудобно стрелять, и почему не нашли того, который упал в осинник с горки.

Ночевать меня поместили с Петром Ивановичем в маленькой комнате, где пахло сосной и сенными матрацами. Нас освещал красный отблеск углей. Было уютно, тепло и весело – впереди несколько дней полной свободы. Завтра пойдем шлепать по весенним лугам за утками. А сейчас наслаждаемся блаженным отдыхом и беспредметным созерцанием. В соседней большой столовой еще гремят чашками…. Дом понемногу замолкает…

– Хорошо? – спрашиваю я.

– Да, хорошо, дивно хорошо, но вот странно: в Париже на больших бульварах, когда я сидел, задумавшись, в кафе, я вспоминал и мечтал обо всем этом: о России, о лесных мелочах и болотцах; а здесь, когда вот так ночью лежу после тяги, невольно вспоминается весенний Париж.

Я любил бывать на охоте с Петром Ивановичем, нас соединяло многое: поэзия природы, жадность к жизни, любовь к странствиям и приключениям, страсть к бесконечным разговорам. Как настоящие русские люди, мы были сотканы из удивительных противоречий:

---

[3] «Современные записки» (Париж), №16, 1923 г.

глубокомысленные философы и легкомысленные гуляки, ленивые созерцатели и нетерпеливые искатели кипучей жизни, прирожденные холостяки и поклонники семейного уюта.

– Да, чувство Парижа – это особенная вещь. Я однажды видел французскую книжку под названием «Любовь к Парижу»; прочесть не успел, да и содержание, кажется, было ничтожно, но заглавие – гениально. Можно написать тома, дивные тома рассказов и размышлений над этим заглавием. Вы знаете, Париж можно любить, как женщину, можно отдать ради него жизнь и совершить преступление. Многие погибали в Париже, жили в мансардах, в нищете, в холоде, и оставались там наперекор голосу долга и благоразумия, не отвечая на письма жен и матерей. Париж – это опасный, таинственный, мистический город; это даже не город – это стихия.

– А что, Петр Иванович, мы вот любим Париж, мечтаем о нем, а можете вы сказать, что в нем так притягательно, за что, собственно, мы его любим?

– *За что?* Я часто себя спрашивал. Но любовь всегда любит живую бесконечность, и никакое перечисление тут невозможно. Впрочем, объясняться в любви – это счастье; и я говорил себе, что люблю его за дивную пластику форм, воплощенную везде: в домах, в площадях, в каштановых аллеях, в гениально-вырезанных силуэтах женщин, в безошибочно элегантных движениях мужчин, в трогательно разукрашенных детях, похожих на севрские статуэтки. Я люблю его за смех и веселье, за цветы, и особенно за розы, за ароматы его духов, за южный свет весеннего дня и дивно пылающие закаты. Еще люблю старинный галльский профиль, неизменно сохранившийся от Франциска Первого до современного бритого гарсона, люблю насмешку карих глаз и позу чести, еще не исчезнувшее наследие рыцарства. Люблю французскую речь, как нанизанный жемчуг. Люблю любовь французской женщины, уверенную и стремительную, как полет стрелы, люблю старинный французский эротизм, разлитый везде и во всем, и рождающий красоту. Но больше всего люблю чувство свободы, бесконечность возможностей, царство фортуны и случая… *Je hazard et grand!* – сказала одна женщина Парижа – не помню, в жизни то было, или в каком-то романе.

– А, я, знаете, что думаю? Не есть ли вся эта любовь к Парижу, в конце концов, любовь к женщине? К одной, которая вас там поразила, или, может быть, ко многим?

Петр Иванович лежал на спине и задумчиво курил сигару. Ее запах напоминал мне заграничное кафе, напоминал весело мчащийся вагон-ресторан.

– Конечно, кто не был влюблен в Париже, тот его не знает. Только любовь чужестранки может открыть вам душу ее народа, стихию ее страны. Но, с другой стороны, кто узнал Париж, кто заглянул в его притягательную бездну, тот может ради него забыть любимую женщину и всех женщин в мире. Хотите, я вам расскажу один странный случай, который произошел со мною?

Жил я тогда в Москве, но всем сердцем стремился в Париж, чтобы увидеть любимую женщину. Каждую ночь, засыпая, я видел ее перед собой: видел ее серо-синие глаза и золотые волосы, совсем золотые, как луидор, вызывавшие изумление. Я видел теплый тон ее лица, озаренного рефлексами этого золота, как бы вечно освещенного лучами летнего заката; я видел ее галльскую улыбку и слышал ее быструю, путаную речь. Я перебирал в уме различные выражения из ее писем, которые приходили ко мне из далекого счастливого Парижа в Москву, на грязную Пресню. Они были написаны на лиловой бумаге и пахли гелиотропом. А лежал я на своем вечном турецком диване и мог видеть в окно морозные звезды.

Ночью мне снился Париж, как всегда непохожий на настоящий, но, однако, совсем реальный, и я проверял во сне, не сон ли это: я ощупывал парижские деревья, трогал стены домов, плакал от радости и просыпался…. Каждое утро, еще в постели, когда мысль остра и ум изобретателен, я обдумывал свой отъезд в Париж. Я обещал ей приехать на Рождество и писал об этом в каждом письме. А переписывались мы со дня разлуки, с июля месяца. Разлука и письма – это особая прелесть. Это важный момент в развитии нашей любви. Не всякая любовь выдерживает переписку, и первое письмо, полученное от женщины, может сразу убить всякое увлечение.

Но вот я, наконец, и на брестском вокзале. Мать провожает меня и крестит, и глядит на меня тревожно и доверчиво: странной кажется ей моя поездка, как, впрочем, и всякие поездки вообще. «Смотри, не простудись», – говорит она, стараясь застегнуть мое пальто; а сама она в своей всегдашней котиковой шапочке, обвязана большим платком и в такой шубе, что нельзя было бы показаться в Париже.

В купе я оказался с французом, комиссионером по шампанскому. Мы, конечно, разговорились про Париж, и тотчас я убедился, что его Париж совсем не похож на мой Париж. Это был скромный семьянин, которого дома ждали жена и дети, парижанин, годами живший в своем квартале, которого все кругом знали и который сам всех знал. Он терпеть не мог ресторанов, особенно ночных, и ходил только в одно ближайшее кафе играть в домино. Его Париж был провинциальным Парижем местного квартала. Он с удовольствием ехал домой, но ему невозможно было передать мое счастье, мою тревогу,

мое ожидание. Париж вовсе не был для него стихией, он был тихим пристанищем.

Да, каждый человек имел свой Париж, и иногда это очень глупый и безвкусный Париж. Как занятно бывает слушать рассказы немцев о Париже, но еще занятнее рассказы русских присяжных и поверенных, едущих на неделю в Париж и в Ниццу, или впечатления русских фабрикантов, совершавших свадебное путешествие.

Иногда, в этих Парижах плохо кормят, плохо метут улицы, везде грязно и неряшливо – не то, что в Берлине – плохие отели, невероятный и противоестественный разврат, везде публичные женщины и публичные дома, всю ночь кутежи и оргии, иногда среди гробов и скелетов.

Слушая все это, невольно вспоминаете огромный Париж, который мирно спит в десять часов за чертою бульваров: звон шагов по пустынному асфальту, массивные двери домов, подобные крепостным воротам, строгие и бдительные портье…. Это тот Париж, который назван у Достоевского самым нравственным городом в мире.

Ну, вот, значит, лежу я на верхнем месте в купе, закинув руки под голову, и думаю. Знакомо ли вам то особое переживание, какое бывает в несущемся вагоне? Это удивительное чувство свободы и уединения, когда вся ваша жизнь до этого момента, с ее тревогами, страстями, огорчениями – сразу становится прошлым, отрывается от вас и стоит в неподвижной ясности; а будущее тоже где-то далеко перед вами – стоит и ждет. И вы в счастливом бездействии, оторванный от прошедшего и будущего, парите над жизнью. Ведь чем прекрасны путешествия? Они как бы дают человеку пережить несколько жизней: он умирает для одной жизни и рождается для другой – прощается с близкими, плачет, жалеет, и, вместе с тем, трепещет ожиданием, страхом, надеждой. Если существует переселение душ, то оно, конечно, будет гораздо интереснее, чем все наши земные переселения.

Приближался вечер, поезд подходил к Парижу…сердце стучало…Gare du Nord![4] Боже мой, сколько очарования скрыто в этих словах! Что вы чувствуете здесь, в печальной и темной России, произнося это «Gare du Nord»? Какая гордость, какая мощь мирового города, какая свобода! И еще таинственный зов, утренний трепет отъезда, предчувствие морского ветра…

Я помню Gare du Nord летом – жара, свет, радость движения. Теперь огромный каменный массив часами стоял темный и холодный;

---

[4] Северный вокал

на площади туман, и под навесом жмутся автомобили…. Наконец, я качаюсь на мягком сиденье, вдыхаю бензин и в упоении нагибаюсь к открытому окну: вот он настоящий, живой Париж! Его знакомые запахи, его привычные мелькания…. Никогда, сознаюсь вам, не переживал я такого вихря счастья от свидания с любимой женщиной, с друзьями. Ничто в сравнении с этим возвращение в Россию после долгой разлуки: то была сладкая печаль, грусть и умиление; здесь было веселье, рой надежд, чрезвычайное напряжение бытия…».

Петр Иванович вскочил и сел на постели; его глаза блистали огнем фантазии, в его лице я видел отблеск Эроса, этого беспокойного бога, бродяги и искателя приключений…. Он схватил и понес, и понес наши души в далекую милую Францию, и все исчезло для нас: русские весенние звезды, свеча и сенные матрацы… и встал Париж, блистающий всеми огнями, звучащий всеми криками и словами, доступными человечеству…

– Деревья стоят голые, кафе спрятали свою жизнь за зеркальные стекла, парижанки закутались в меха. Все пронизано легким туманом, какой бывает у нас в октябрьские заморозки. Он врывается в окно автомобиля, как дыхание далекого океана; а фонари расплываются в опалы, вывески блистают рубриками…. Вот столбы афиш, быт газетчиков, каскетки, цилиндры, изгибы дамских шляп с их скрытым очарованием!.. Вот парижский мусор и милые намокшие бумажки реклам!.. И все – порыв, все – ритм, быстроту которого я знаю, в который нелегко попасть. Сказать бы: «остановись, мгновенье», если бы движение не составляло его жизнь, его сущность, его счастье.

Знакомый портье, рослый с наглыми карими глазами и южным акцентом, берет мои вещи и покровительственно устраивает меня, несмотря на возражения, в крошечной комнате: «временно, ибо все полно»…. Я стремительно переодеваюсь и бегу обедать. Мраморный столик, покрытый салфеткой, устрицы, вкус и запах моря…терпкое, золотое вино…дивное вино парижской жизни! Я вижу, обоняю и глотаю стихию Парижа.

После обеда я иду быстро, бодро, каждое движение есть радость и вдохновение, я не успеваю думать, я только стремлюсь куда-то…куда? Конечно, к Сюзанне! Сейчас я должен взять автомобиль, но вот опѐра, вот бульвары…. Я попадаю в этот вихрь жизни, который всегда изумляет, и невольно отдаюсь бесцельному движению. Я захожу в taverne Pouset и за чашкой кофе, с сигарой в зубах, погружаюсь в созерцание. Оркестр играет из Самсона и Далилы. Узнаю блеск и знойную экзажерацию французских скрипок. В кафе жарко и тесно. Звуки плывут сквозь горячий и пряный туман.

С улыбкой счастья смотрю в лицо напротив сидящей дамы, и она тоже начинает мне отвечать улыбкой подкрашенных губ. Сейчас она заговорит, но я соображаю, что мне совсем не хочется говорить с ней, и отвожу глаза. Я, собственно, хотел бы сказать ей, что безумно рад Парижу, что все как будто для меня одного здесь живет и блещет, и радуется, но я знаю отлично ее мысли, я знаю их также хорошо, как все ее движения: вот сейчас она откроет темно-зеленую сумочку и подкрасит губы…. А если я начну перед ней объясняться в любви к Парижу, то это ей покажется скучным и банальным: она будет, впрочем, любезно улыбаться и скажет: «Tout le monde aime Paris»[5].

Сюзанне я тоже могу говорить о любви к Парижу. Она заставит меня рассказывать, как я стремился к ней, как жил без нее, она будет рассказывать про свою маленькую жизнь.

В ее душе, как в зеркальце ее ридикюля, я увижу маленький Париж, где все знакомо, где ничто не вызывает изумления. Как же я буду говорить ей о великом Париже, о том, который держит меня в своих объятьях? Нет, я должен еще немного побыть с ним наедине. Мне хочется сейчас носиться и бродить по его улицам, площадям, по тем, которые бодрствуют и живут, и блещут, по тем, которые спят, покоятся во мраке по ту сторону Сены и хранят неведомые тайны в странных своих закоулках, мансардах и переходах. Ведь Сюзанна совсем не захочет странствовать по этим скучным местам. Она скажет: «Знаешь, это вовсе не забавно» (ce n'est pas amusant, tu sais).

На другой день я проснулся рано, разбуженный счастливою тревогой: в чем же дело? отчего я так рад? куда надо спешить? ах, да, я в Париже! Не сон ли это? Но вот ковер, камин, часы Людовика XV, которые во всем Париже остановились от счастья. Вот чужой, иностранный запах и гудки автомобилей, несущихся как бы через мою комнату…. Я вскакиваю и распахиваю окно: туман, напротив закрытые жалюзи, трепет утра и чувство безграничной свободы! Какое счастье проснуться так одному в чужом городе, когда еще молод и когда кипят надежды!

Вот радостно улыбающийся гарсон, со знакомой, огромной чашкой кофе. Он страшно доволен, что вы приехали, и обеспокоен необычайной далью и трудностями вашего путешествия. Он спрашивает, много ли снега в России, и как открываются утром окна и двери, на ночь окончательно засыпанные снегом.

---

[5] Париж любят все.

Быстро выбегаю я на улицу и все куда-то спешу…. Я хочу спешить вместе с парижским утром. Все здесь бодро, все улыбается, все звучит приветствием! Здесь молоды все старики, здесь все хотят нравиться друг другу, и если еще нет рая всеобщей любви, то все же воплощена красота всеобщей любезности.

Трудно изобразить вам теперь, что я делал. Порою я бездумно отдавался круговороту, как шарик, брошенный в рулетку, а дни текли…. Я потерял чувство времени. Как очарованный я смотрел на эту мировую сцену. Я угадывал тысячи трагедий и комедий. Какое множество индивидуальных душ, жизней, судеб, миров! Все индифферентно друг к другу и непроницаемо, все таинственно слито в единую душу мирового города. Я осязал тело Парижа, его камни, его влагу, его деревья; я заглянул в его душу – заглянул и загляделся, задумался, потерял волю…

И, заметьте, драгоценны те моменты жизни, когда вдруг что-то вырывает вас из суеты, и вы стоите, как очарованный, с взором, прикованным к случайной светлой точке…. В эти минуты душа внимает песне жизни и постигает неведомое…. «О чем ты задумался?» – спросит женщина или друг. *О чем?* Вот на это трудно ответить.

Так и я тогда ничего не мог объяснить, что делал, чего хотел, о чем думал…. Теперь только я вспоминаю, что в этой потере всех личных целей и забот было неисчерпаемое богатство и мощь бытия – моя душа как бы выросла до мировой души и слилась с нею. И это было нечаянно, без всяких усилий, без философии: просто налетело светлое облако беззаботного созерцания и заволокло суету души…

Я смотрел неподвижно, затаив дыхание, хотя мое тело двигалось и бродило, и я думал: *какое счастье видеть!* Передо мной неслись хороводы душ, избравших свой жребий. Судьбу каждой я принимал в свое сердце и как бы переживал до конца в мимолетном видении. Я видел ясно жизнь этой дамы, ослеплявшей взор драгоценной пустотой своего наряда; она выскочила из бархатного футляра своего автомобиля и исчезла в зеркальном блеске дверей; полдня она искала украшения, как водолаз ищет жемчуг, а затем она осуществляла свою власть в салоне, в театре, в интригах, в карьере мужа, в успехах любовника. Я читал судьбу этого журналиста, обедавшего против меня, в коротких приказаниях гарсону, в прищуренном блеске насмешливых глаз, в красных и крепких щеках, в выборе вина…

В чем же я мог ошибаться? В названии улицы, в номере дома, в имени любовницы; я мог слегка перепутать жребии жизни, не угадать литеру каждого по его глазам. Но я видел ясно смысл этих простых символов. Среди множества однородных попадались иногда индивидуальные, загадочные: вот львиная, седая голова аббата в на-

циональной библиотеке…. Вот сухой бритый старичок с черной шапочкой на голове в лавке антиквара… – они живут в ином мире, и иные миры живут в них.

А вот свидание в кафе, которое я никогда не забуду. В женщине и мужчине я сразу почувствовал больших актеров мировой сцены, ее героев. Вспомните, когда выходит настоящий артист – его нельзя смешать с другими: все становятся мелкими и некрасивыми. Женщина была высока и как-то антична, несмотря на парижский костюм; мужчина был тоже высок, строен, молод, без усов и бороды. Таким я представлял себе Алкивиада. Удивительно, как цилиндр и широкие складки пальто могли воплощать такое изящество линий. Но главное, что озаряло их лица и делало богоподобным – это сияние подлинной любви. Оно сразу было видно. Когда они вышли, я долго следовал за ними, как очарованный.

И все-таки я был счастливее, чем они, в том эмпирее, куда залетел мой дух каким-то чудом, и откуда он медлил спускаться. Жребий моей жизни был забыт и лежал на земле неподвижно. Но сам я чувствовал какое-то странное могущество всемирного художника и созерцателя. Душа моя бесконечно размножилась, влилась во все души и растеклась до пределов вселенной; и, вместе с тем, не теряла своего творческого центра, откуда дух как бы играл образами – фантазировал, угадывал, шутил…

Конечно, все это могущество кажется мне теперь фантастическим, иллюзорным, неспособным согнуть былинку. Но тогда я переживал его, как счастливую полноту и силу. Я вспоминаю слова какого-то индуса, что отрешенный становится всемогущим и может коснуться луны кончиком пальца.

Скоро мне пришлось, однако, упасть на землю. Во время своих странствий я встретил около Comedie Francaise женщину, которую на мгновение принял за Сюзанну; это не была она; но ее отблеск, ее подобие заставили меня покинуть божественный Эдем, где я находился, и устремиться на землю в жажде воплощения. Я вспомнил счастливых любовников, которых только что видел, и подумал, что наша любовь не менее прекрасна. Мне блеснули синие глаза Сюзанны и теплое золото ее волос. И сразу все исчезло для меня, весь Париж воплотился в нее одну. Я увидел ее комнату, ее зеркала, духи, кольца, гребни….. Немедленно я написал petiti-blue, как было условленно. Я даже забыл, когда приехал, и мне искренне казалось, что это было сегодня.

Свидание было назначено после обеда. Оставалось еще пять часов ожидания. Сначала я не мог сидеть дома. Я выдумывал себе мелкие дела: я разыскивал розы, которые она любила, и вишни, про-

питанные вином…. Наконец, я вернулся в отель и стал ждать в уединении. Я смотрел в окно, стараясь издали угадать ее автомобиль. Я знал, что она повернет на углу, замедляя движение.

Как-то это будет? В страстном ожидании всегда есть тревога. Кто же не знает, что в жизни случается не совсем так, как мы предвидим? И я старался угадать это «не так». Ее могло не быть дома и мое petiti-blue лежит нераспечатанным…. Я вспомнил, как однажды я ждал Сюзанну на place Bastille, и как разразилась гроза. Этого мы вовсе не предвидели; но она приехала и выпрыгнула из авто под потоками весеннего счастливого дождя.

Я все смотрел, прижавшись к стеклу. Автомобили неслись – равнодушные, чужие…в однообразной смене, мимо и мимо…. Но, Боже, наконец! Один резко замедляет ход, трубит и радостно затихает у подъезда…

Сюзанна! Ее золотые волосы! Вся она!

Ах, кровь застучала в висках…

Я бегу коридором, спускаюсь по лестнице. На половине пути – портье с запиской в руках: «Письмо от мадам!»

– Как? Она идет?

– Мадам уехала.

– Когда уехала?

Бегу с письмом вниз. Сюзанны нет…. Я выбегаю на улицу; попрежнему мчатся автомобили…. Разрываю конверт и читаю: «Ты уже давно в Париже, и ты солгал. Я все поняла. Не ищи меня. Я тебя забуду. Сюзанна».

Растерянный и разбитый я возвращаюсь и глупо спрашиваю у портье: «Зачем же она уехала?»

Карие глаза портье смотрят на меня насмешливо. Пожимая плечами, он говорит:

– Мадам не раз спрашивала вас, но вас никогда не было дома.

Комната, в которую я вошел, была мертвая. Вишни и цветы были не нужны. Я схватил шляпу и выскочил на улицу…. Париж был совсем чужой – серый, каменный, холодный. Ненужные газеты, афиши, цилиндры…. Лица странные, наглые, накрашенные, нафабренные…. Мишура магазинов…

Я никогда Сюзанны больше не видел».

– Да, неужели вы ее не отыскали? Не объяснились?

– Представьте, нет!

– Но это странно! Что же вы сделали, наконец, – остались в Париже или уехали?

– Вышло, действительно, несколько странно: не так, как у Тургенева – я не очутился в вагоне и не смотрел на дым с разбитым сердцем.

Я остался. И даже пережил нечто особенное, что сохранилось на всю жизнь. Я изменил ей ради Парижа и ради чего-то большего, чем Париж, и это большее меня спасло…. Но сначала было очень больно! Я никогда не забуду этот первый вечер покинутости и одиночества. Я имел друга в Париже и хотел пойти к нему. Но потом мне стало стыдно плакать у него на плече. Ведь это был француз – насмешливый, мужественный, циничный: он ненавидел сентиментальность, презирал толпу и был роялист. На женщин смотрел скептически, так как был большой Дон Жуан.

Я вспомнил, как он мне сказал однажды: «Когда вас бросит любимая женщина, закрутите хорошую сигару и затопите камин – это лучшая минута для философии…. Всегда будьте благодарны женщинам, которые вас бросают: они всегда самые лучшие, и вы их будете помнить. Остальных приходится бросать самому, и они забываются». Улыбнувшись этим мыслям, я, действительно, купил сигару в маленьком «табачном бюро»; моросил дождь, и я дрожал от холода. Вернувшись домой, я велел зажечь камин. Я обожаю огонь, особенно, когда одинок и печален.

Розы и вишни еще стояли на столе. Я стал их бросать в огонь по одной. Вишни, пропитанные коньяком, горели синим, небесным пламенем…. Розы горели иначе и издавали странный аромат. Это были чайные розы, и я вспомнил, как однажды летом, у Мадлэн, под проливным дождем, покупал такие же розы для той самой женщины, которую я бросил для Сюзанны; я, действительно, ее совсем забыл…

Стихийный вихрь моей юности как бы сразу пронесся передо мной. Я вспомнил студенческие годы и ту русскую девушку, которую я любил. Она тоже бросила меня, и почему? Это навсегда осталось для меня тайной. И мне нравилась эта тайна. Пронеслись предо мною романы русских юношей и русских девушек, с их бесконечными разговорами и письмами, с их взаимным выматыванием души…. А мой жертвенник курился странным фимиамом, я следил за таинственными струйками, бегущими вверх. Кто же бросает в огонь розы, живые розы? Да, то была настоящая жертва. Какому богу? Неведомому богу, не знаю его имени, но знаю, что это он похитил меня в царство задумчивости и созерцания, он отнял Сюзанну и показал иной Париж, дивно преображенный. Я вспомнил счастье своего приезда, счастье первых дней, столь непохожее на все, что было в моей жизни, и мне захотелось вернуть его. То не был холод и бесстрастие отреченности – там были и смех и слезы, но совсем иные, непохожие на человеческие.

А Париж гудел за окном, блистал, трепетал, любил, страдал, жил.

Он жил собой, бесконечно древней и многосложной жизнью. И я понял, что здесь, в центре мировой жизни, нужно победить жизнь, здесь нужно победить себя и найти новый и высший центр духа. Вот почему и остался я в Париже и с тех пор верен ему всегда. Вы видите, француз был прав: момент был самый подходящий для философии».

Леонид ГАТИНСКИЙ (Ганский) (1908-1970)
Париж, Франция

СОВЕСТЬ[6]

Рассказ

Когда человек, умирая, говорит своему другу: «тебе одному я верю, береги мою жену», а тот – давний любовник его жены, то такой друг должен безо всякого внешнего принуждения кончать самоубийством.

Что это – совесть?

Я ждал трамвая у Литейного моста.

Город был окутан влажным, густым и белым, как сметана, туманом. В двух шагах ничего не было видно. Я знал, что рядом черные воды торопливо и зло гонят глыбы льда, наполняя город пронзительным холодом, что льдины, наскакивая друг на друга, трескаются, разбиваются с шумом и грохотом, наводящим панический ужас. Но я не видел и не слышал ничего. Туман заглушал все звуки, и мне казалось, что во всем городе я один.

Неожиданно, позади, а может быть, рядом, послышались глухо, как в телефонной трубке, какие-то голоса. Я ждал трамвая и не мог уйти, поэтому невольно подслушал слова, которые никто чужой не должен был слышать.

«Если нам не суждено умереть одновременно, если кому-нибудь из нас надо пережить другого, то я хочу, чтобы этим был ты. Зачем мне без тебя моя жизнь, весь мир, этот город, книги, люди? Они имеют смысл, занимают в этой жизни место, благодаря тебе, с тобой…».

Тот, кто ей отвечал, говорил такие ничего не значащие, избитые слова, что, если бы не голос его, выражавший любовь и нежность, и огромную внутреннюю силу, – все, что он говорил, было бы только пошло, очень скучно и лживо.

Губы и глаза никогда не лгут, в голосе же человеческом что-то от музыки: лживость, угодливость и готовность предать.

Он, может быть, лгал – этот человек, но не верить ему было нельзя. И женщина начала быстро, лихорадочно говорить, странные, совсем нелепые ласковые слова и до того громко, словно они были

---

[6] Журнал «Встречи» (Париж), № 6, 1934. С. 263-276.

во всем городе одни.

Мне было очень неловко. Но, к счастью, подошел трамвай. Не только номер, даже отличительные разноцветные фонари его не были видны, но мне стало уже все равно – я торопился уехать.

Я вошел на площадку. За мною следовали знакомые голоса. Неужели и они? Когда я оглянулся, рядом со мною стояли дама и господин с чемоданом. Кондуктор протянул им билеты. «Верочка, нет ли у тебя мелочи?». Это были они.

Даме стало на площадке холодно, и они перешли в вагон. Теперь, когда я их не слышал, я мог смотреть на них без чувства неловкости. На людях они, вероятно, говорили совсем о других вещах, безразличных. Разве это могло что-нибудь изменить?

Я думал, как счастливы должны они быть с такой чистой, безупречной любовью.

Трамвай медленно плелся, под вагонами что-то гудело, скрипели то и дело тормоза, звонил вагоновожатый, – и все эти звуки ехали с нами, как пассажиры, – туман их не выпускал.

Мы подъезжали к Кирочной. Разрывая туман, внезапно, как несчастье, из Кирочной выскочил грузовик и заградил путь нашему трамваю. Вагоновожатый резко затормозил, трамвай чуть подскочил, затрещали стекла, и от резкой остановки загорелся мотор. Неприятно запахло резиной, гарью, затем из-под пола появились языки огня, и трамвай наполнился дымом.

Пассажиры повскакали с мест и бросились к выходу, к площадке, на которой я стоял, но дверь не открывалась. Если бы стоящие сзади не напирали так сильно, дверь, может быть, и открылась бы, но толпа в смертельном страхе сперва ничего не понимала, и лишь потом инстинктивно сообразила повернуть к другому выходу.

Как ученый под микроскопом изучает неведомые, таинственные миры, я спокойно наблюдал с моего, теперь удобного места, обезумевшую толпу.

Среди чужих и незнакомых лиц я искал ту, что клялась в вечной, неистребимой любви – любви, которая сильнее смерти.

Я не узнал ее. С лицом, исполненным животного страха, оттолкнув и оставив своего спутника, она пробивалась к выходу одна.

В 14 лет я знал только одну любовь – к Толстому. Весь мир озарялся его правдой, и лишь одно было нестерпимо, бесплодно-мучительно: это – невозможность видеть Толстого живым, прийти к нему, сидеть с ним и ему все сказать: как трудно, как больно, как

Грешно. И он, наверное, сказал бы, сумел бы сказать или, может быть, молчать, что потом бы уже хватило силы на всю жизнь.

Тогда же, в 14 лет, мне пришлось бежать за границу с моими родителями. Приятель отца, особый следователь военно-революционного трибунала, упаковывал наши вещи. «Вот это, – сказал он, держа в руках пропуска в Польше, выданные до прихода большевиков штабов польских войск, – вот это вам пригодится там. Но чтобы в пути, во время случайного обыска, никто не нашел их, лучше всего завернуть в них стаканы. Никто не догадается, что такие важные и опасные документы лежат на виду». Он же нас посадил в поезд, ежеминутно вытаскивая револьвер, грозя революционным трибуналом и массой страшных вещей.

Мы ехали к границе. Нам предстоял путь, на который обычно нужны были сутки; но теперь он мог продолжаться неделю, три дня, месяц, или это могло не кончиться никогда.

Приехав в Жмеринку, где надо было пересаживаться в другой поезд, отходивший только дня через три-четыре, по грудам снега, перескакивая через обледеневшие рельсы, спотыкаясь, скользя, мы таскали на плечах наши вещи в станционное здание, и когда мы только что закончили и собирались отдохнуть, к нам подошел каменного вида чекист, одетый с претензией на элегантность, – мы были уверены, что для нас этот путь уже не кончится…

Пришлось опять, через эти груды снега, по тому же, теперь ненавистному пути, таскать на плечах вещи в тот же поезд, только в другой вагон, где помещался Летучий Отряд Одесского Чека. Нас встретил развязный молодой человек и почти что весело спросил: «За границу? Я вам покажу заграницу. Где документы и деньги? Я начальник Летучего Отряда Одесского Чека. Скажите правду – выпущу, не скажите – повезу в Одессу, а там – расстреляют. Раскрывайте чемоданы».

Трое людей рылись в наших вещах, таких чужих от прикосновений чужих рук, вещей теперь ненужных, обличающих, и все же милых своей беззащитностью. Потом начальник отряда отозвал отца в сторону; они о чем-то пошептались, и когда через несколько минут подошли к нам, – начальник сказал: «Ну, что ж, ничего не нашли? Ладно, вы свободны. Я даже вам удостоверение выдам в том, что вас уже обыскивали».

В это время один из чекистов, все еще продолжавших обыск, развернул стакан, небрежно посмотрел обличающий документ и ловким, незаметным жестом сунул себе в карман. Это было издевательство. Мы свободны, но в последний момент этот чекист вытащит польский пропуск, нас арестуют, повезут в Одессу, ну, а там – расстреляют.

Через минуту поезд должен был тронуться.

Чекисты начали быстро и небрежно запихивать в чемоданы выложенные вещи, но все же мы могли не успеть до отхода поезда, и начальник отряда предложил: «Вы стойте под окном, а мы прямо через окно будем подавать вам чемоданы».

Мы вышли из вагона; мы стояли под окном: мы были свободны! Бежать, бежать, пока не поздно, ведь тот чекист, который нашел пропуска, над нами издевается, себе и своим товарищам он готовит комедию, а нам – смерть.

Но бежать было нельзя, и мы стояли под окном, принимали из рук чекистов вещи, складывая подле себя в снег. Паровоз засвистел, с шумом выпустил пар, и поезд начал медленно двигаться. В это время сзади к отцу подбежал чекист, тот, который нашел пропуска. Протянув для пожатия руку, пробормотал: «Это вам пригодится – там», и вскочил в последний вагон уходящего поезда.

Наши документы были вновь у нас. Смерть отступила с уходящим поездом.

Прошло несколько лет. Чуть-чуть отошел Толстой, стал суровее и умнее. Он не ответил на многие вопросы, он многого не скажет. И мир стал иным, и я – равнодушней. Как-то, когда меньше всего я ожидал этого – связь с прошлым – я встретил чекиста, спасшего мне жизнь. Мы узнали друг друга. Я не чувствовал ни благодарности, ни любви к этому человеку, но я знал, что, если я ему нужен, вернее – если ему от меня что-нибудь нужно – я должен сделать все.

Он жаловался на неблагодарность людей, на вероломство женщин, на безразличие друзей.

– Мне нужны деньги, мне нужен кокаин, я не могу без этого жить. Никто мне не дает ни денег, ни кокаина.

– Сколько же вам нужно денег?

– Червонца два.

Я дал десять.

Что это – совесть?

Надежда ГОРОДЕЦКАЯ (1901 - 1985)
Лондон, Англия

СМЕРТЬ ТАНИ[7]

Рассказ

Вернувшись из университета, я увидела в передней синее весеннее пальто и обезьяний палантин под кипой иллюстрированных журналов: это, по привычке своей, не предупреждая, приехала из Македонии Таня.

Наша дружба – давняя, гимназическая. Таня поступила прямо в четвертый класс и из-за шалости была посажена на первую скамейку, на глаза классной дамы, где сидела и я – больше по причине малого роста. Во всех школах балуют красивых девочек. Таня была тонкая, синеглазая, с крупными завитками. Я давала ей списывать – домашних работ она не выполняла. Подсказок же не терпела, и даже как-то отказалась ответить урок: потому что ей уже подсказали.

Однажды на уроке географии она вытянула из парты чтеца-декламатора и читала, высоко подняв бровь. Потом взяла карандаш, подчеркнула одно слово и протянула мне. Я, скосившись, прочла: «Сладострастие».

Через несколько дней, на полях черновой тетради она написала:

– Будем говорить на «ты». И очень покраснела.

Теперь Таня была замужем за врачом, которого презирала и не обманывала. Муж не пил, носил полувоенное платье и любил фотографироваться. Своему приятелю на карточке надписал «morituri te salutant»[8], так и не изменив множественного числа – а и всего-то только ехал в Македонию, туда, где, хотя и плох климат, в тот год особых эпидемий не было. Главное, ведь, и слабогрудую Таню этот «morituri» туда вез.

Таня выскочила мне навстречу в красных шлепанцах и моем капоте. Обнимаясь, мы обе разом закричали:

– Когда ты приехала? Как ты похудела!

– Что за гадость у тебя на голове! Ради Бога, не таскай этой шляпы.

Я сварила чаю, послала хозяйку за закусками. Таня лакомка, но если о ней не позаботиться, просидит вовсе без обеда.

– У тебя водки нет? Меня трясет.

---

[7] Газета «Возрождение» (Париж), том 7, № 2551, 27 мая 1932 г.
[8] Те, кто собираются умирать, вас приветствуют (пер. с французского).

Я считала, что доктор пренебрегает здоровьем жены. На этот раз вид у нее был ужасный. Я попробовала заговорить о ее самочувствии. Таня посмотрела на меня кратким, неискренним взглядом и ничего не ответила.

– Между прочим, – вдруг сказала она, – я бросила Алешку.

– Ты с ума сошла? Что у вас случилось?

Не знаю, почему я испугалась, я ведь и сама давно этого ожидала.

– У тебя что, роман?

– Ни черта нету. Я еду в Париж.

И она принялась кричать, что ей надоело, что она загубила все свои способности, что молодость уходит, и через два года будет поздно.

– Ну куда ты поедешь? В кабаках петь, уроки музыки давать?

– У меня от торговли четыре тысячи. Знаешь, моя овечья коммерция совсем недурно пошла, я ее турку в наследство оставила.... Петь не буду, получше моего найдутся. Рояль – куда там, я три года к инструменту не подходила... Я буду печататься, я написала рассказ.

Я улыбнулась. Таня рассердилась; она всегда была горда и гневлива.

– Ну, и не стану тебе читать... Да открой же, Христа ради, постель, я устала невероятно. Да нет, не открывай, я сверху.

Она долго умащивалась, поджимала ноги. Потом кротко сказала:

– Тетрадка в чемодане, возьми, если хочешь. Только лучше я сама буду читать вслух, ты не разберешь. Вероятно, она боялась следить за моим лицом и угадывать впечатление, если бы я читала про себя. Мне хотелось расспросить подробнее о ее делах и планах, но Таню ни в чем нельзя прерывать. Я села рядом с нею на кровать.

– Знаешь, я еще потом исправлю.... Я это хочу назвать «Пастораль», только, пожалуй, насмешливо чересчур. Или «Быль». Только нехорошо – «Быль – рассказ». Но, наверное, можно просто: «Быль» – без всего внизу? (она не знала слова подзаголовок) Так вот: «Быль».

Танина тетрадь у меня хранится, и невольно вспоминая все происшедшее в тот вечер, я вспоминаю ее рассказ. Как и все неопытные авторы, Таня писала автобиографию – недаром так настаивала на своем заглавии. Писала она о своей деревенской жизни, о муже, о неудачливой любви к сербскому офицеру, который был помолвлен, о сонной жизни турецкого бея, тихого и мечтательного пьяницы, ее компаньона по торговле овцами (это была реальная Танина выдумка, ее попытка применить куда-то, к какой бы то ни было деятельности свою энергию, и мечта, разбогатеть, вырваться в Европу). Она чита-

ла долго, наконец, закрыла тетрадку, отложила ее и смотрела, ожидая моего суда.

– У тебя этот бей получился вроде лишнего человека или чеховского типа, – сказала я, – и потом, лучше бы сразу с него и начать, без Бранко.

Мне рассказ понравился, но Таню ни за что нельзя сразу хвалить – она не поверит. А между тем, я так ясно видела эту подспудную жизнь – да какую там жизнь: полу-жизнь, затаенный процесс, вроде того, что происходит под землей. Минутами я почти не понимала, к чему это нагромождение камней, стад, чужого быта. Так в детстве я удивлялась Куперу и недоумевала, как иных может занимать это шумное чтение с топотом копыт и вечными погонями. Но ведь во всей этой излишней пестроте прошла Танина невыдуманная жизнь.

Таня вспыхнула и ответила, что без Бранко все теряет смысл, и она не виновата, если бей и в самом деле такой, как это сегодня говорится? – классовый пережиток. Тут мы обе захохотали.

– Ужасно хорошо, ну, прямо очень хорошо, – говорила я, – у тебя талант.... Боже мой. Ты вся мокрая, тебя трясет. Ложись ты как следует.

– Как так ложись. Десять часов, я гулять хочу.

– Таня, ведь ты с дороги, ты больна.

Опять я уловила ее строгий и краткий взгляд.

– Я не больна, я от твоего чая не насытилась. Пойдем в кондитерскую.

– Танька, да нас за уличных примут.

– Классовый пережиток, – ответила Таня.

Мы снова захохотали, она перемахнула через меня ногами, прыгнула на середину комнаты и изобразила танец живота. Затем последовало одеванье, подмазывание, повторная брань по поводу моей шляпы и ее переделка: Таня подогнула одно поле, насадила какую-то пряжку, навязала мне на шею случившийся у нее шарф и, заметив, что так я лошадей не испугаю, завернулась в свою обезьяну, как дама с модной картинки. Словом, вышли из дому мы около одиннадцати, в кондитерскую было поздно, и я предложила выпить кофе на вокзале, благо он в двух шагах.

Я любовалась Таней, ее капризным голосом, даже ее, заимствованной из модного журнала позой, и бестолковой властностью, с которой она несколько раз попусту гоняла лакея. Она еще вся горела от моей похвалы, от будущего, ожидающего ее в Париже. Одинокой, болезненной транжирке, – не сладко ей прядется с ее четырьмя тысячами, – но пока что она и меня заражала своей жаждой жизни и верой в успех. В самом деле, ей ли жить в глуши и страдать от без-

надежной любви к милому, молчаливому юноше, которому она, вероятно, приписала «качеств тьму». А, может, и ничего не приписывала, а просто полюбила, потому, что было ей печально и одиноко, а раньше любить не случалось. Тане еле исполнилось двадцать два года, а по виду было и того меньше. Как ни странно, мечтая о любви еще в ту пору, когда подчеркнула слово «сладострастье», она никого в юности не полюбила: очень уж много вкладывала в это понятие, а тут еще началась Гражданская война и внесла в ее восторженное сердце новые тревоги. Таня из гимназии пошла на фронт сестрою и там, чтобы легче попасть в летучий отряд, вышла за своего доктора. Позже, она иногда высказывалась, что хотела, действительно, облегчать страдания и смерть, быть подлинной сестрой.

– Это заблуждение, Катя. Я думала, что если я замужняя, так никто не посмотрит. Но очень даже смотрели и страдали. А потом, кто умирал, кто опять на фронт. Ты только пойми, что за жизнь у них была. Ну и пусть страсти животные, это ничего, они смертью это искупали, не мне судить. Мне бы их любить всех, ну, так вот всем и принадлежать – это самолюбие мешало, репутация там, честь и так далее. Но ведь им-то радость, кто-нибудь умирая вспомнил бы.

Я редко возражала ей, доводы мои ее могли обидеть. Знаю одно: если бы и жила она так, как задним числом считала нужным, я любила бы ее неизменно.... В тот вечер, под влиянием чтения, я литературно определила нашу дружбу. Мелькающая, вокзальная, она вспыхивала и прерывалась на много месяцев, и всегда я провожала Таню и представляла ее себе не иначе, как с чемоданом, и всегда свистел паровоз, и последние слова заглушал нерешительный шум тронувшихся колес. Таня чудилась мне бездомной, неприкаянной. Не случайно мы говорили о ее будущем, да и предугадываемое счастье состояло в отъезде.

Когда мы направлялись домой, пришел экспресс. Автомобиль из лучшей гостиницы подобрал троих путников, какая-то иностранка не могла объясниться с носильщиком. Мы хотели придти ей на помощь, и в это мгновение появился военный со множеством пакетов, державший шляпную картонку, неловкий и смущенный. Рядом с ним быстро шла маленькая женщина с букетом белых цветов. Мы поравнялись. Раздался болезненный вскрик двух голосов, Таня рванула меня за руку и кинулась прочь. Все это произошло так стремительно, что я даже не успела сообразить. Я оглянулась. Офицер торопливо садился на извозчика.

– Это он, это Бранко, это Реслич, – бормотала Таня.

Тут и я поняла и даже как будто узнала Реслича в мелькнувшем офицере с картонкой. Он женился, он из-под венца, у нее букет. И вдруг, не сговариваясь, мы побежали к стоянке.

– Куда поехал офицер с дамой? Гони за ними! – крикнула Таня, готовая уже вскочить в коляску.

– А кто его знает, куда поехал, – резонно ответил извозчик, – не меня нанимал, – Спиро, не слыхал, куда офицер с барыней поехал? Вот, барышни спрашивают.

– Не слыхал. А им что?

Тут обе мы очнулись и поняли всю нелепость нашего положения. Мы отошли. Извозчики загоготали нам вслед. Я вела Таню под руку. Она начала дрожать.

– Я должна, я должна узнать, я пошлю ему цветов.

Она заплакала.

Я еле добрела с нею до дома, раздела, уложила. Она как будто онемела, застыла. Молча указала мне на край постели. Я легла с нею рядом, обняла – и поразилась, ужаснулась детской ее худобе. Не открывая глаз, Таня сказала:

– Это его брачная ночь…

Она стиснула зубы и начала метаться. Я целовала ее голову, шею, острые лопатки. У нее поднималась температура. Долго мы молчали, меня начало клонить в сон.

– Катя, – услышала я вдруг громкий и решительный голос, – я уеду в Париж, я напечатаю книгу и пошлю ему, пусть знает.

Не помню, какими словами я ее утешала. Она уснула у меня на плече, и вскоре вся покрылась потом, так что не только ее, но и моя рубашка совершенно промокла. Я не смела будить ее, не смела уйти на диван, боясь, что она заподозрит меня в брезгливом к ней чувстве. Среди ночи она проснулась и спросила, заметила ли я, что и он вскрикнул, опешил.

– Он узнал меня.... Ну и пусть теперь отправляется в свадебное путешествие.

А через минуту она плакала тихо и горько, как маленькая девочка.

– Он всегда говорил, что женится не из расчета, что не может обладать женщиной, если не любит.... Значит, он ее любит. Катя, Катя!

Так провели мы всю ночь, а на утро Таня не встала. Думается, в стремлении ее уехать в Париж была надежда, что узнав о ее отъезде, он бросится за нею, – но перед этой действительностью, перед букетом, перед шляпной картонкой – душа ее надорвалась, а за нею сдало и тело. Не то, чтобы Таня умирала от несчастной любви, но тут разом открылась у нее скоротечная чахотка. Она не могла прими-

риться со смертью, с тем, что умирает именно в тот момент, когда решила перестроить всю свою жизнь. А я бестолково суетилась вокруг нее, предлагала горячего молока, спрашивала, куда смотрел ее муж. Таня очень покраснела; ей за себя стало стыдно, что у нее такой муж.

– Мне нужно делать вспрыскивания. Так он не собрался, на меня времени не хватило.

У хозяйки моей был рояль. Таня заставила меня сыграть Лесного Царя. Когда я вернулась в комнату, она лежала тихая и торжественная.

– Ты понимаешь, почему мне это надо? Ты помнишь?

Как не помнить давнее лето, нашу дачу. Таня гостила у нас. Мы вышли в поле; стояла тишина, и мы слышали, как моя мать играет на рояле Лесного Царя. Луна светила, но поля были темны, и только плетень серебрился и походил на змея. Таня долго смотрела на луну и неожиданно сказала, что там пребывают души умерших, что и она умрет очень молодою: и чтобы я знала, что душа бессмертна. Конечно, я не обратила на ее слова никакого внимания – она была в том переходном возрасте, когда все девочки мечтают о ранней смерти. Но теперь и незабытые эти поля, и баллада, – все приобретало новый лик. Я бросилась целовать руки Тани. Она не отнимала их, потом подняла мою голову, внимательно на меня посмотрела и просто сказала:

– Ничего. Ты не горюй.

Ей становилось все хуже, и, в конце концов, я спросила, не послать ли телеграмму доктору.

– Посылай. Теперь уже все равно, – ответила она и не сдержала детской, обиженной гримасы.

Доктор прискакал немедленно, но Таня была уже в бессознательном состоянии. Я даже подозревала, что она его узнала, и будь это не он – осилила бы себя, вернулась бы на мгновение к жизни. Но это был он, никто другой, и снова глаза ее затуманились, и она впала в бред.

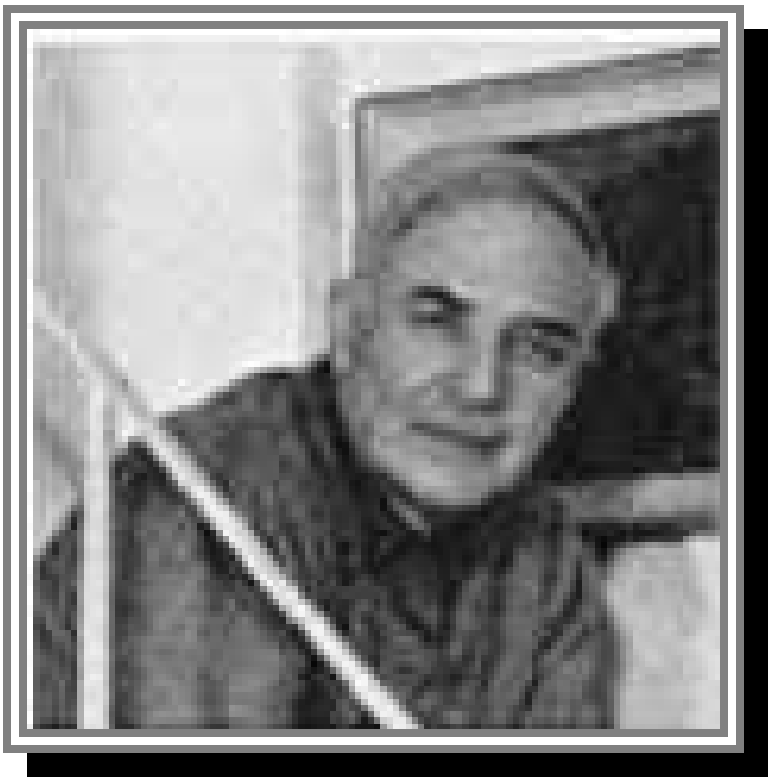
Я смотрела на неопрятную куртку ее мужа, на его давно нестриженые волосы. Мне хотелось сказать: «Вы убили Таню». Но что я могла сказать этому нетрезвому, маленькому, рыдающему человеку? Внезапная смерть называется по-хорватски «напрасной». И хотя ничего неожиданного не было в чахоточной, мне все-таки хотелось сказать: «напрасная смерть».

Месяцы идут, уже вторая годовщина минула. Доктор попрежнему живет в Македонии. Я смотрю за Таниной могилой. Иногда у меня мелькает романтическое желание встретить у ее креста

Реслича или найти цветы и узнать от сторожа, что принес их какой-то офицер. Но ничего такого не происходит. На кладбище я редко думаю о Тане – я забочусь об ограде, о венках – о внешних предметах.

Зато при вокзальном свисте я каждый раз вижу ее, смятенную, потерявшуюся, повторяющую: «Это он, это Бранко, это Реслич». Да еще за роялем, когда без предварительного намерения я начинаю играть Лесного Царя, я вспоминаю разом и Танины предсмертные дни, и наше отрочество, родное поле, печальную пушкинскую луну, нескошенные, влажный травы, по которым от наших шагов скатывались капли росы, и медлительные, длинные ночные тени. Они – то отставали, то предваряли нас – странные спутники, отражающие тайное наше бытие. Тени, слова покойной подруги.

Впрочем, разве Таня умерла, разве она дальше, чем тогда, когда жила в своем селе? О бессмертии я не думаю.... Но разве существует смерть?



Михаил Матвеев (1892 –1969)

Юрий МАНДЕЛЬШТАМ (1908-1943)
Париж, Франция

РАССКАЗЫ МИХАИЛА МАТВЕЕВА[9] [10]

В современной французской литературе появилось еще одно русское имя. Наш соотечественник Михаил Матвеев пока еще новичок, но если он бережно отнесется к своему несомненному дарованию, то через несколько лет его имя можно будет назвать рядом с именами старших его коллег – «русских французов»: Эммануэля Бова[11] и Игнатия Леграна[12]. Думаем, что Матвеев займет место совершенно особое, именно благодаря своей «русскости»: хотя он и пишет по-французски, но Россия сквозит в каждой его строчке, в каждой интонации.

Несколько лет тому назад он выпустил книгу «Загнанные», сюжет которой был взят из времени гражданской войны на юге России (в частности, из еврейской жизни этого периода). Но «Загнанных» нельзя было до конца причислить к беллетристике: слишком очевиден был их мемуарный оттенок. В новом сборнике рассказов Матвеева[13] гражданская война послужила содержанием для пяти рассказов из семи: по-видимому, автор одержим своеобразным романтизмом этой эпохи. Но из сюжета революционные годы превратились в тему Матвеева. Его рассказы не только о русской революции, они пропитаны ее тревожным и смутным веянием. Матвеев как будто подчеркивает, что он «вне политики»: к своим героям – то белым, то красным – относится он с одинаковой любовью и жалостью. Тему

---

[9] Михаил Матвеев – псевдоним (нас. Фамилия Joseph Constant, от рождения Иосиф Константиновский, 1892 –1969) – русско-французский скульптор и писатель. Как скульптор он был известен под именем «Joseph Constant», как писатель он пользовался псевдонимом Michel Matveev.
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Constant

[10] Газета «Возрождение» (Париж), том 12, № 4043, 12 июня 1936 г.

[11] Эммануэль Бов (фр. *Emmanuel Bove*), настоящее имя Эммануэль (Эмилий) Эммануилович Бобовников (фр. *Emmanuel Bobovnikoff*, 1898 – 1945) – французский писатель и художник русского происхождения. Входил в первый ряд французской литературы 1920—1930-х годов, был почти полностью забыт после Второй мировой войны и стал культовым писателем после «второго рождения» в 1970-х.

[12] Игнатий Легран (псев. Ignace Legrand, наст. имя Фердинанд Игнатий Альберт Варшавский, 1884- (?)) – французский писатель русского про-исхождения.

[13] *Michel Matveev*. Entrange Famille. Editions Gallimard. – NRF, 1936. (В 1936 году книга получила высшую французскую награду Prix des Deux Magots).

свою он взял куда глубже; но именно поэтому его рассказы должны, как нам кажется, многое разъяснить иностранному читателю и умерить своей правдивостью советофильский снобизм иных литераторов. Несмотря на уже упомянутый романтизм, рассказы Матвеева очень правдивы – внутренней человеческой правдой – и революционная пора изображена в них без всяких прикрас, в грубой и горькой своей реальности.

«Я вам расскажу о стране, которую невозможно увидеть; она больше не существует на свете. Да и существовала ли когда-нибудь?», – так начинает Матвеев один из своих рассказов, – вероятно, лучший, посвященный еще дореволюционному времени («Некогда»). И вся книга его, собственно говоря, – история исчезновения и разрушения России, не как государства, а как некоей жизненной и человеческой ценности. Отсюда грустный, лирический тон повествования и та пронзительность, которой проникнуты многие матвеевские страницы. Все герои его рассказов ведут отчаянную борьбу – не только внешнюю – за существование, но и душевную – за живую жизнь, против мертвящей, античеловеческой силы, прорвавшейся наружу, против ненависти, безжалостности, безразличия. Цель их борьбы дает им энергию и пафос, и даже известную жизнерадостность: все члены матвеевской «Странной семьи» любят жизнь, несмотря на ее изнанку, которую одну только и знают. Но фон этой жизнерадостности – серая повседневность, столь неожиданная в бурный, якобы «героический» период гражданской войны; да и в самой душе матвеевских героев звучат нотки безнадежности и обреченности. Все они смертельно ранены революционной реальностью, хотя и продолжают жить.

Не все рассказы одинаково хороши. Некоторые из них слишком повествовательны, сюжет в них преобладает над темой, в некоторых лирическое переживание слишком неясно, слишком спутано с сознательно поставленными «проблемами» – психологическими или иными. Хромает иногда и фактура. И все же Матвеев – подлинный писатель. Рассказы «Некогда», «Бледный мальчик» и «Серый цвет» обнаруживают свой формальный подход, свой архитектурный оттенок, несколько приближающийся к чеховскому. С Чеховым роднит Матвеева и грустно-лирический тон, скрашивающий и преображающий бытовой реализм, и моментами прорывающийся юмор – вплоть до некоторых, вероятно, бессознательных реминисценций. Таким образом, не только тема, но и подход к ней, и литературная генеалогия крепко связывают Матвеева с Россией, о которой и для к которой он и пишет, хотя и на чужом языке.

Игнатий Легран , (1884 – ?)

Юрий МАНДЕЛЬШТАМ
Париж, Франция

РАССКАЗЫ ИГНАТИЯ ЛЕГРАНА[14]

Имя Игната Леграна[15] широкая публика узнала полтора года назад, когда он был главным кандидатом на премию Гонкуров 1934 года. Узнали тогда и русские читатели, что под псевдонимом Леграна скрывается наш соотечественник[16]. Это могло их порадовать, тем более, что его роман «В своем свете» был отличный, а по основному своему ощущению даже замечательный. Но премии Легран не получил, и о нем забыли снова. Если бы он сейчас не выпустил сборника рассказов, то, вероятно, никто и не вспомнил бы, что во Франции сейчас живет и пишет автор глубоко подлинный, и если не большой, то, во всяком случае, вполне замечательный и своеобразный.

По счастью, книга Леграна появилась, и мы не только вправе, но считаем своей обязанностью напомнить о нем. Может быть, кто-нибудь и прочтет его романы (их у него несколько, т. к. Легран вообще не дебютант) и новые рассказы. А тот, кто прочтет, вряд ли не остановится на них и не захочет перечесть: случай редчайший, исключительный. От повестей Леграна (так же, как и от некоторых романов) исходят особые лучи, вернее некий электрический ток, от которого буквально испытываешь толчок в сердце, такое волнение и даже радость (несмотря на меланхолический тон книг), о каких не могут и мечтать многие испытанные и талантливые романисты. Легран – живое доказательство того, что литераторское ремесло не убило в наш век жажду небывалого, обещание неведомого и полного блаженства, составлявшие всегда сущность – единственное оправдание литературы. Как неожиданно свежо и полноценно звучит в устах Леграна слово «идеал», столь избитое, что его, казалось бы, надо окончательно отставить. Вместе с тем, Легран – не идеалист, он трезвый, скептически умный исследователь человеческой души. Его «идеал», как и «идеалы» его героев, – вера в последнюю человеческую глубину, «чудесную вещь», по выражению писателя Сандро (рассказ «Сандро»), «душевную родину», как говорит героиня дру-

---

[14] Газета «Возрождение» (Париж), том 12, № 4032, 18 июня 1936 г.

[15] Игнат Легран (Ignatius Legrand – псевдоним, настоящее имя – Фердинанд Игнатиус Варшавский, 1884 – ?) – французский писатель русского происхождения, брат известного французского художника Édouard Louis Warschawsky Leon (Edy Legrand).

[16] *Ignace Legrand*. Heiri – “Renaissance de la nouvelles,” NRF, 1936.

гого рассказа («Уроки на каникулы»), и как Легран назвал свой самый первый роман.

К этой «душевной родине» стремятся все его герои – в любви ли, в искусстве, в горьких размышлениях пятидесятилетнего человека (переживания этого возраста составляют одну из главных тем новой книги Леграна). И это стремление создать непохожую ни на что другое, непередаваемую, томительную и пленительную атмосферу – у Леграна ценнее всех его беллетристических достоинств. Напряженный трагизм «последнего чаяния» захватывает и ведет, как действующих лиц, так и читателя, до забвения самого себя. И за всей обреченностью и безнадежностью светится все же ничем неистребимая надежда на обретение «чудесной вещи», на окончательное торжество любовного начала в человеке и в мире. Ибо, в конечном счете, «душевная родина» Леграна, его «внутренний климат» – любовь, даже тогда, когда он совсем не касается любовной интриги (как в военном рассказе «Холм 304»).

Своеобразие Леграна особенно заметно на фоне современной французской беллетристики. Хотя он и пишет по-французски, он совершенно чужд французским веяниям и влияниям. Скорее, он ближе к новой английской литературе, о которой у него разбросано столько верных и проницательных суждений. Как метко, в нескольких словах, клеймит он Лоуренса[17] за его «безлюбовную книгу» «Любовник лэди Чаттерлей». Зато Легран притягивается к Катрин Мансфильд[18] (которой посвящен один из его рассказов), и к той линии романистов, предельным выражением коей является «Источник» Моргана. Не надо удивляться этой англомании. Легран сам говорит об «английских умах, зараженных русской литературой». Через Англию он связан, конечно, с русской традицией. Вряд ли мы ошибемся, что в основе творчества Леграна – Достоевский, хотя и очень по-своему преломленный, абсолютно без «надрывов» в специфическом смысле.

Все это, повторяем, очень замечательно, и если мы все же не назовем Леграна большим писателем, то только из-за отсутствия у него предельного и уверенного мастерства. Это не значит, что он хаотичен или слаб формально. Он к мастерству стремится, и чисто литературное дарование у него – несомненно. Способность вымысла у него первостепенная, так же, как и умение создавать живых людей. Как жизненны и привлекательны все его персонажи: не всегда «по-

---

[17] D. H. Lawrence «Lady Chatterley”s lover» опубликовано в 1928 г.

[18] Кэ́трин Мэ́нсфилд (англ. Katherine Mansfield, наст. Кэ́тлин Би́чем, англ. Kathleen Beauchamp, 1888-1923) – новозеландская и английская писательница-новеллистка, самый знаменитый писатель Новой Зеландии.

ложительные», но пронзенные желанием «чудесной вещи», с умом и вкусом, с критической оглядкой на самих себя. Умеет Легран и строить свои произведения. «В своем свете» – роман архитектонически-безупречный. Рассказы в общем слабее с этой точки зрения; все же «Уроки на каникулы» – рассказ прекрасный во всех отношениях. Зато другие порою расплываются, грешат длиннотами. Лучший по внутреннему ощущению рассказ «Сандро», собственно говоря, начинается по-настоящему со второй части, а первая – лишь несоразмерно растянутая экспозиция. Но эти дефекты не мешают ни общей увлекательности, ни той глубокой человеческой замечательности, о которой мы говорили. И, пожалуй, именно от «Сандро», больше, чем от других рассказов, получаем мы незабываемый толчок в сердце, над которым нельзя не призадуматься.

Ирина Немировская (1903-1942)

Юрий МАНДЕЛЬШТАМ
Париж, Франция

«ДВОЕ»[19]

Наша соотечественница Ирина Немировская[20] во французской литературе уже, во всяком случае, не новичок. Она выпустила за последние годы с десяток книг – причем первые же ее романы обратили на нее всеобщее внимание. Помимо несомненного дарования, пускай неровного и не всегда глубокого, привлекало в этих книгах своеобразие – вероятно, результат особого сочетания русской и французской культуры. Прелестная повесть «Недоразумение», затем драматический, хотя и со срывами в мелодраму, «Давид Гольдер», который и составил писательнице имя, затем несколько поверхностный, но художественно очень удавшийся этюд переживаний подростка «Бал».... Казалось, что линия творчества Немировской предначертана – и линия вполне почетная. Впоследствии, однако, ее творчество не раз приносило нам разочарование. Талант ее сказывался лишь в отдельных отрывках, в целом же ее романы были либо совершенными пустячками, либо сырыми и с растянутыми повествованиями, в которых психология героев по своей условности приближалась к образцам совсем непритязательным. С тем большим удовлетворением отмечаем мы новый роман Немировской[21], снова возвращающий ее на пути серьезного искусства. Композиционно и он неровен, четкости «Недоразумения» и «Бала» в нем нет. Но в нем чувствуется значительный замысел и вдумчивый авторский подход к нему. Немировская явно писала эту книгу не для забавы и не для литературной игры. В ней заметен жизненный опыт – и пусть выводы из него спорны, сама эта спорность свидетельствует о том, что вопросы затронуты действительно важные. Центральное место этого романа в творчестве Немировской подчеркивается тем, что она впервые посвятила целую книгу любви. В противоположность большин-

---

[19] Газета «Возрождение» (Париж), том 14, № 4183, 12 мая 1939 г.

[20] Ирина Львовна Немировская (фр. Irene Nemirovsky, 11 февраля 1903, Киев – погибла 17 августа 1942 в Освенциме) – французская писательница русского происхождения, наиболее известная своим романом «Французская сюита», написанным во время Второй мировой войны. Роман был впервые напечатан только в 2004 году и имел во Франции большой успех. В 1940 году Немировская написала письмо главе вишистского правительства Петену, в котором заявила, что, несмотря на то, что быть евреем – это судьба, сама она никогда не любила евреев и, следовательно, она имеет право на специальный статус. Ответа на письмо не последовало. Однако 13 июля 1942 года ее арестовывали (скорее всего, выдал кто-то из соседей) и отправили в Освенцим, где она и погибла.

[21] Nemirovsky Irene. Deux. – Albin Michel, 1939.

ству писательниц, она до сих пор касалась любовных переживаний лишь мельком, в эпизодах, в общем, второстепенных. Даже в новом романе любовь – не единственная тема. Вся первая часть отведена «быту» – тому особому послевоенному быту, с жаждой веселья и обладания, который уже столько раз описывался французскими романистами. Но само это стремление Антуана Кармонтеля все к новым победам важно именно потому, что оно – контраст любви, той «любви двух», которая потом коснется его жизни. Любопытно, что подобно многим современным писателям, и Немировская эту любовь воспринимает как любовь брачную. История «двух» начинается тогда, когда любовники становятся супругами. Антуан и Марианн не безоблачно счастливы. Искушения старой страсти не умерли в сердце Антуана и оживают снова в образе Эвелины, сестры Марианны. Супружеская любовь и страсть к Эвелине неизбежно приводят к конфликту, в котором Эвелина погибает. Прочная, семейная, домашняя связь торжествует над бурей чувственности – и даже чувства. С горечью Антуан сознается, что в свой последний час он будет жалеть не о драматической любви Эвелины, а о житейской, но все больше его покоряющей привязанности Марианны.

Мы сказали, что выводы Немировской спорны. Может быть, правильнее было бы сказать, что спорны их обоснования. Брачная любовь побеждает «романтику», но не противоположна ей по существу, она соткана одновременно из той же эротической, душевной и телесной стихии, но лишь очищенной от случайных элементов. Житейская привычка дополняет, но отнюдь не исчерпывает ее – поскольку она остается любовью. Сами столкновения «двоих», – если они действительно любовная чета, – отмечены этой стихией. Это – не ежедневные мелкие ссоры, а тютчевский «роковой поединок». У Немировской дыхания рока именно и не достает. Любовь Антуана и Марианны от эротического русла просто отклоняется. Такой любви не победить ту, другую. В таком случае, можно скорее говорить о смерти любви и об измельчании Антуана и Марианны.... Это основное возражение, конечно, существеннее отдельных упреков, которые можно сделать Немировской по формальным поводам. Роман неровен, но встречаются в нем пассажи превосходные. Страницы, описывающие самоубийство Эвелины и бешеную автомобильную поездку Антуана в надежде предотвратить несчастье – полны драматизма незаурядного. И общий тон дают именно подобные пассажи, а не пробелы – лишнее доказательство серьезности авторского переживания; пускай порою сниженного, или «подсушенного» чисто головными положениями.

Эммануэль Бов (1898-1945)

Юрий МАНДЕЛЬШТАМ
Париж, Франция

«ПРОЩАЙ ФОМБОН»[22] [23]

Странное название выбрал для своего нового романа Эммануэль Бов[24] – название, чем-то на редкость не соответствующее его обычному стилю, своей нарочитой и крикливой небрежностью. Правда, и сама книга не вполне похожа на предыдущее романы Бова, хотя перекличка тем, некоторых ситуаций и даже приемов несомненна. Но то, что в прежних романах было органически выращено, крепко слажено и ярко сказано, на сей раз превратилось в ряд бледных и разрозненных намеков на что-то, может быть, и значительное, но не воплощенное образно и словесно.

Эммануэль Бов – по происхождению русский, но во французскую литературу он вошел уже давно, и казалось бы прочно. Несмотря на отсутствие у него внешнего блеска, он узнал лет десять тому назад довольно громкий успех, благодаря роману «Коалиция». Прекрасный роман «Пасынок» утвердил его репутацию. Особенно радостно было то, что Бов как-то сразу примкнул к очень серьезной и чистой линии французской словесности. Самый тон его, а также его стилистическая манера и психологическая ткань поражали особой первоклассностью, даже, несмотря на известную формальную неровность. Все дышало сосредоточенностью и добросовестностью, напоминающей некоторые английские романы. Порою эта неизменная тщательность грозила даже превратиться в скучноватость, но внутрен-

---

[22] Газета «Возрождение» (Париж), том 13, № 4104, 5 ноября 1937 г.
[23] *Bove, Emmanuel*. Adieu Fombon, – Paris: NFR, 1937.
[24] Эммануэль Бов (фр. *Emmanuel Bove*, настоящее имя Эммануэль (Эмилий) Эммануилович Бобовников, 1898, Париж –1945, Париж) – французский писатель и художник. Входил в первый ряд французской литературы 1920—1930-х годов, был почти полностью забыт после Второй мировой войны и стал культовым писателем после «второго рождения» в 1970-х. Роман Эммануэля Бова *La Coalition* («Коалиция»), опубликованный в 1927 году, был выдвинут на Гонкуровскую премию. В 1928 году он получил *Prix Figuière* по живописи. Участвовал в выставках Королевской академии художеств в Лондоне. В 1928-1932 годах выставлялся в Салоне французских художников в Париже.

няя подлинность и большой вкус Бова уничтожали эту опасность. Главное же, за стилем и психологией сквозила глубокая личная тема Бова – тема освобождения человека от всего наносного, общественно-житейского, во имя душевной правды. Герои Бова как бы повторяли в миниатюре путь Толстого, естественно заканчивающийся «уходом». Ярче всего выражена была эта тема в повести «Предчувствие», вышедшей два года тому назад, хотя она формально слабее больших романов Бова.

Ту же внутреннюю драму переживает и Шарль Декуен, герой нового романа. Полжизни он стремился к созданию себе положения в провинциальном городе Фомбоне и вдруг почувствовал необходимость бросить свою семью и среду, в которую вошел лишь внешне, – чтобы стать самим собой. То, что Декуен принадлежит и по развитию и по происхождению к «средним людям», могло бы внести нотку вполне оригинальную, по-новому показать и углубить тему. Но Бов в этом романе не только сорвался, а как бы изменил самому себе.

Во-первых, душевный процесс Декуена по-настоящему проявляется лишь в последних главах, а три четверти книги посвящены бытовым и психологическим эпизодам, лишь отдаленно с ним связанным. Эта разросшаяся экспозиция невольно раздражает. Во-вторых, и в конце книги смысл бегства Декуена настолько неясен, что повторяем, является скорее намеком на тему, чем новым ее вариантом. Самые характеры Декуена, его двух жен, его сына, его знакомых даны лишь в виде набросков, неточных и неполных. Наконец, построение книги лишено обычной гармоничности Бова, в нем столько пустоты и лишних эпизодов, что возникает мысль – не написан ли роман наспех и небрежно? Это тем удивительнее, что Бов два года не нарушал молчание. Между тем, небрежность сказывается во всем: Бов порою даже путает имена, называет вторую жену Декуена то Симоной, то Денизой, а в одном месте сына Мориса – Шарлем, так что его можно спутать с отцом. Но эти дефекты легко устранимы. Хуже, что весь роман напоминает скорее черновой набросок, чем законченное произведение писателя, от которого позволено было ждать большого роста. Будем надеяться, что этот роман – недоразумение, и что Бов вернется на свой прежний путь, такой подлинный и привлекательный.

Надежда Городецкая (1901-1985)

Юрий МАНДЕЛЬШТАМ
Париж, Франция

«ДЕТИ В ИЗГНАНИИ»[25]

Рассказы Надежды Городецкой[26] хорошо знакомы читателям «Возрождения». Многие, вероятно, читали и оба ее первых романа – «Несквозная нить» и «Мара». Третий роман Городецкой, только что вышедший[27], трактует тему очень нам близкую и болезненно нас задевающую: тему «третьего» эмигрантского поколения, т. е. той молодежи, которая покинула Россию в раннем детстве или родилась уже в изгнании. Роман этот выпущен непосредственно на французском языке (предыдущие произведения Городецкой почти все вышли во французском переводе) и обращен, по-видимому, главным образом к европейскому читателю. Вопрос о русских писателях, перешедших в ряды иностранных литератур, не раз затрагивался в зарубежной прессе. Надо ли нам радоваться или огорчаться их успехам? Ответы предлагались разные, да общего решения и не может быть. Но случай Городецкой – особый. Она слишком явно – русская писательница, чтобы за нее могло возникнуть такого рода беспокойство. Да она и не перестала писать по-русски. При чтении «Детей в изгнании» ясно, что и эта книга написана по-русски, и что мы имеем дело с переводом, по всей вероятности, авторским, т. к. имя переводчика не указано. Перевод, безусловно, хороший, но чувствуется все же, что это не оригинальная версия.

Жаль, если этот «переводный оттенок» оттолкнет иностранцев: книга написана, повторяем, несомненно для них. Поэтому Городецкая подробно останавливается на информационной части, сообщая и поясняя то, что нам и без того известно и понятно: обстановку эвакуации, условия жизни в изгнании (и не одного лишь младшего поколения). Но для французов будет небезынтересно узнать, какие уколы терпит эмигрантское самолюбие от сознания своего материального неравенства с уроженцами приютившей нас страны; как Борис Кочетов не решается позвать товарища по лицею к себе, в одну комнату, которую разделяет с матерью и отчимом; как молодые эмигранты просиживают вечера в кафе не из любви к «атмосфере богемы», а из нежелания вернуться домой, в нищенскую каморку.

---

[25] Газета «Возрождение» (Париж), том 11, № 3956, 2 апреля, 1936 г.
[26] Городецкая, Надежда, биография (см. стр. 185)
[27] *Gorodetzky, Nadejda.* L’exil des infants. – Paris: Desclée de Brouwer, "Les Iles", 1936

Остановится французский читатель на пассаже о благодарности русских к Франции, несмотря на лишения, высылки и прочие ограничения. Можно бы возразить, что не все эмигранты живут в ужасных условиях героев Городецкой, но мы знаем, увы, каково их количество в процентном отношении.

Материальное положение, так сказать, бытовая сторона – только фон романа. Сущность его – моральные искания молодежи, почти не знающей своей родины, иногда плохо говорящей по-русски. Денационализация, подданство, право на труд, мечты и заботы о нормальной «карьере» – вот что занимает всех этих Борисов, Нин, Николаев, из коих никто не достиг еще двадцати лет. Во всех этих треволнениях непрестанно присутствует, однако, Россия – ее образ и имя, память или мечты о ней. Это чувство толкает представителей «третьего поколения» друг к другу, отделяя от сверстников французов. И хотя большинство из них относятся презрительно к эмиграции, к своим отцам и старшим братьям, «потерявшим Россию», сами они все же остаются в эмигрантской среде: в русских лагерях, в русских культурных, литературных, спортивных объединениях, в новых политических образованиях. Политикой все они задеты, хотя и не в чистом виде. За всеми этими исканиями скрыта тревога еще более глубокая, порядка чисто духовного. Не случайно для Нины «служение России только один из видов служения Богу». Русская катастрофа вошла в их сознание, как данное, как реальность, пожалуй, как ниспосланное испытание. Очень пронзительны строки о «гибели», сочетающейся в уме Нины с Пушкинскими стихами; это чисто русское ощущение «последнего дня Помпеи», вряд ли целиком будет понято западными читателями.

Духовное беспокойство разрешается героями Городецкой поразному. Бежавший из советской России Малышев, кончает самоубийством. Проникшаяся полунапускным разочарованием и безразличием Лиля, опускается и ищет утешений в легких романах. Нина уезжает в Россию – не совсем ясно, для чего: для подвига, вроде сиринского Мартына, или для «строительства». Борис уходит в личную жизнь и эстетство. Наиболее внутренне преображенной оказывается под конец книги единственная из «старших» Анна Сергеевна, которой тоже нет еще тридцати. После любовных разочарований и неудачи общественной, она обращается к вере, хотя и почти бессознательно. Ее духовный путь обрисован Городецкой, пожалуй, убедительнее всего.

Иностранец, прочитавший роман, получит без сомнения правильное представление о наших молодых. Но для нас, знающих их лично, герои Городецкой не всегда убедительны. Слишком прямо-

линейны и несложны их характеры. Пусть многое отделяет «третье» поколение от предыдущего, но отрицать в нем сложной и интенсивной внутренней жизни мы не имеем права. Городецкая вряд ли и хочет этого, так что примитивность ее героев надо отнести за счет известной литературной неудачи. «Дети в изгнании» с точки зрения чисто художественной кажутся нам вообще не лучшим произведением Городецкой. Действие местами явно растянуто, не хватает динамизма. Городецкая лучше «показывает», чем «рассуждает» – жаль, что она сама не всегда помнит об этом. Все же в романе чувствуется лирическое дыхание, свое переживание. Прелестны два вставных эпизода, образующих как бы отдельные новеллы: история таинственной любви Фроси Белус и «солнечный миф» молодой поэтессы Наташи Горенко. Судя по всему, повести удаются Городецкой гораздо больше, чем длинные романы. Надо надеяться, что она не отнесется с пренебрежением к своему «новеллистическому» дарованию: хороший художник не обязан писать большие полотна, а имеет полное право ограничиться и миниатюрами, не теряя ни своей подлинности, ни глубины.

Александр Кондратьев.
Рисунок П. Либеровского. 1946

Александр Кондратьев. Рисунок Павла Либеровского. 1946 г.
(печатается с разрешения сына художника,
Алексея Либеровского)

Вадим КРЕЙД
Айова Сити, США

«ОН – СТРАНА, ПОСЛЕ НЕГО ДУША ОЧИЩАЕТСЯ»

Одно из стихотворений Александра Кондратьева называется «В доме Отца Моего обителей много…». Эти слова из Евангелия от Иоанна могут быть прочитаны как эпиграф ко всему творчеству поэта. Цитируя Евангелия, Кондратьев стремился сказать о своем понимании вселенной – о многообразии миров. Многообразие он понимал мифологически. Литература Серебряного века – это литература мифотворчества, а Кондратьев в своих стихах, рассказах, романах оживлял миф, одушевлял его, приближая древность к современности.

Многообразие – одно из ключевых слов того русского культурного феномена, который мы называем Серебряным веком. Эпоха стремилась вместить в русское творчество культурное наследие всех народов и всех времен. Эпоха была экстенсивной, широкой и пытливой, и такими же были ее деятели – люди многосторонне одаренные. И сам Кондратьев не только поэт – он еще и прозаик, драматург, переводчик, критик, литературовед, фольклорист, мемуарист.

Эта полифония творческой личности у Кондратьева объединилась одним главным мотивом – любовью к древности. Некоторые поэты написали в подражание Горацию свой «Памятник», ставший как бы отдельным малым жанром в русской поэзии. Такое стихотворение (имеет оно в названии слово «памятник» или никак не названо) подводит итоги жизни в искусстве, творит высший суд над собою. Г. Державин в «Памятнике» видит свою заслугу в том, что первым дерзнул «в сердечной простоте беседовать о Боге». Вывод В. Ходасевича в его «Памятнике» совсем иной:

Но все ж я прочное звено:
Мне это счастие дано.

Ф. Сологуб подводит итог своему жизненному пути в безымянном стихотворении:

Скажу: Слагал романы и стихи,
И утешал, но и вводил в соблазны.
……...
Но я – поэт.

Кондратьев тоже в безымянном стихотворении, в жанре «памятник», видит свою особенность в том, что пробудил к жизни обитателей мифологических миров, ибо в нашей вселенной поистине обителей много.

Щедрою властной рукой бросил я образы миру;
К жизни от сна пробудил фавнов, сатиров и нимф.
Боги минувших времен мне откликались на лиру;
Вечная Матерь с чела звездный подъяла заимф.

Нет, не умру я совсем! Дети раздумий поэта,
Дети печали моей, жадно вкусив бытия,
Будут блуждать, как отец, среди равнодушного света
И о веселье шептать, грусть неземную тая…

Литературе Кондратьев отдал сорок лет. Половина этого сорокалетия хронологически совпала с русским Серебряным веком. Вторая половина творческой жизни протекала в эмиграции. Два периода резко различаются. Но и в том, и в другом царит любовь к древности, к юности человечества, к свежести нерастраченных сил, к той мифологической старине, когда «боги, люди и звери стекались на пир», когда «человек улыбался богам», когда душа хотела излиться в торжественном гимне. Это царство светлых и радостных снов, и недаром последнее произведение Кондратьева – повесть «Сны».

Он родился 24 мая 1876 года, то есть принадлежал к тому поколению поэтов, что и Александр Добролюбов, Иван Коневской, Владимир Гиппиус, Леонид Семенов, – к поколению, прошедшему искусы декадентского периода модернизма. Серебряный век отсчитывают от времени декадентов, и 16–17-летний Кондратьев оказался свидетелем первых его проблесков.

Рождение в семье петербургского дворянина-чиновника многое определило в характере и судьбе Кондратьева. Дворянством своим он гордился; после окончания университета сам стал чиновником, сначала в Министерстве путей сообщения, а через шесть лет в Государственной Думе. Что же касается Петербурга, то благодаря этому городу потомственный петербуржец Кондратьев стал поэтом и писателем – именно таким, каким он стал.

В ранние годы он пристрастился к рисованию, изображал главным образом батальные сцены. Увлекаться он умел глубоко, и это увлечение переросло в захватывающий интерес к военной истории, так что после гимназии даже и не думал о выборе пути: считал, что путь один – в военное училище, по стопам деда.

Но отец настоял на поступлении в университет, причем не на историко-филологический факультет, более других привлекавший Кондратьева, а на юридический, как самый «хлебный». Отец Кондратьева, небогатый петербургский чиновник, хотел видеть сына обеспеченным человеком. «Предки мои не владели поместьями… и не занимали высоких постов. Дед по отцу дослужился до майора, отец умер статским советником, ни недвижимостью, ни капиталом не обладал. Я жил очень скромно, тратя деньги только на книги…».

Кондратьев, изучавший в университете государственное право, знание которого принесло ему «горькие радости», жалел, что не смог слушать лекции на историко-филологическом факультете. Литература Серебряного века в заметной степени создана филологами. Брюсов, Мережковский, Белый, Блок, Городецкий, Вяч. Иванов, Гумилев, Борис Садовский, Иван Коневской, Сергей Соловьев – филологи, и это обстоятельство непосредственно сказалось в их творчестве. Выдающимся филологом был Иннокентий Анненский, сыгравший определяющую роль в писательской судьбе Кондратьева. В 1893 – 1896 годах он был директором Восьмой петербургской гимназии, той самой, в которой Кондратьев учился. Уроки Анненского превращались в служение культуре, понимаемой как часть человеческой души. В мемуарах Кондратьев вспоминает Анненского: он преподавал греческий язык, но больше заботился о том, чтобы «познакомить гимназистов с великими произведениями всех стран и народов». Здесь опять мы встречаемся с этим универсализмом строителей Серебряного века – культом культуры и знакомством с традициями всех стран, всех веков.

«Мы ученики Иннокентия Федоровича, еще в 7-ом классе гимназии знали все, что несколько лет спустя Вяч. Иванов читал как откровение на публичных лекциях в Париже», – вспоминал Кондратьев. Исключительная любовь к античности была передана Кондратьеву как некое посвятительное знание именно Анненским. Его сын, поэт Валентин Кривич, писал: «Для А. А. Кондратьева, к которому до конца жизни отец сохранил искреннее и большое сердечное расположение… он со школьных времен так и остался “дорогим учителем”», и этот эпитет А. А. Кондратьев всегда неизменно прибавлял к имени отца во всех своих к нему обращениях. Каждую свою вещь А. А. Кондратьев, конечно, вручал отцу, и о каждой книге отец всегда сообщал ему свой подробный и серьезный отзыв…. Поощрял и журил он бывшего ученика своего именно как «дорогой учитель»: всегда неизменно дружески и всегда направляюще-серьезно».

Александр Кондратьев

Был еще один источник, давший энергетический импульс пробуждающемуся таланту в определении той тематики, которая стала для Кондратьева лейтмотивом. В кабинете его отца стоял на постаменте красного дерева скульптурный бюст Аполлона, покровителя поэзии, предводителя муз. Кондратьев срисовал эту скульптуру в детстве. Он стал бывать на художественных выставках. «Впечатление от первого посещения картинной выставки, – писал Кондратьев, – было столь сильным, что ночью у меня сделался кошмар. Интерес к живописи усилился под влиянием Арнольда Беклина, чьи картины были тогда исключительно популярны. Франц Штук – другой художник-символист той поры – прославился изображениями фавнов и нимф. Его влияние на юношеское сознание Кондратьева тоже оставило след. «Побывал на великолепной выставке английских художников… Заработанные стихами или уроками деньги шли у меня частью на покупку книг, частью на посещение выставок…. Виденные мною на выставках картины служили порою темами для моих стихотворений», – рассказывал Кондратьев. На упомянутой им английской выставке он видел картину под названием «Забытые боги». В двух словах сформулирована была та тема, которая его влекла к себе, но столь очевидное название еще не приходило ему на ум. Тогда же он написал стихотворение о богах, которых он, поэт, должен вызвать из мрака забвения – к жизни от сна пробудить.

Лишь начнут виноград убирать,
Мы встаем из тумана забвенья
И воздушною легкою тенью
Возвращаемся к жизни опять.
При сиянии алой зари
Над землею мы вновь пролетаем
И печальные взоры кидаем
На разбитые в прах алтари…

Первое его стихотворение было напечатано в «Живописном обозрении» в 1899 году. Первая проза появилась в печати в 1901 году Писать он начал в гимназии, печататься – в студенческие годы. В университете одним из первых, с кем познакомился, был Александр Блок. Встречи были частые, знакомство длилось двадцать лет. Отзывы Блока о Кондратьеве немногочисленны и неоднородны. Однако самые верные слова, когда-либо сказанные о Кондратьеве, принадлежат именно Блоку: «Кондратьев удивительный человек…. Он совершенно целен, здоров, силен инстинктивной волей; всегда в пределах гармонии, не навязывается на тайну, но таинственен и глубок.

Он – страна, после него душа очищается…». Здесь подчеркнута особенность кондратьевского творчества – античный катарсис, просветляющее и очищающее воздействие искусства.

Студенты университета, писавшие стихи, объединились в кружок, название которого звучало с некоторым вызовом – «Друзья чистой поэзии». Со времен Писарева к чистой поэзии установилось подозрительное отношение. Господствующее мнение либеральной интеллигенции: поэзии не нужно быть «чистой», ей следует быть общественной Руководителем кружка был приват-доцент Б. В. Никольский, невероятный эрудит, слабый поэт, убежденный монархист, знаток классической поэзии, обожатель А. Фета, Г. Державина. Может быть, через Никольского Кондратьев понял важнейший момент в жизни Державина, автора оды «Бог», – «когда томимый муками творчества, поэт увидел неожиданно на стенах и потолке своего темноватого гостиничного номера невещественный свет». Из поэтов-современников, считал Кондратьев, тот же свет видел только один Владимир Соловьев.

Кружок собирался по средам на квартире Никольского на Екатерингофском проспекте. Садились за длинным столом, освещенным зеленой лампой в традиции пушкинских дней. Читали стихи. Участниками кружка были А. Блок, А. Кондратьев, В. Поляков, Л. Карсавин, Л. Семенов, С. Штейн. Самые светлые надежды возлагались на Леонида Семенова, впоследствии толстовца, ушедшего «в народ» и, кажется, погибшего от руки того же «народа». Никольский лично знал А. Майкова, Я. Полонского, Вл. Соловьева, изображал их в лицах, мастерски имитировал интонации.

На Кондратьева произвели впечатление стихи С. Городецкого, в будущем автора прославившей его «Яри». Для начинающего поэта увлечение может оказаться зеркалом, в котором он старается увидеть себя самого в не столь отдаленном будущем. Таким именно образом читались Кондратьевым стихи «Яри». Владимир Пяст писал о «яркости» «Яри». Георгий Иванов еще учеником кадетского корпуса повторял эти стихи наизусть Кондратьева привлекало в этих стихах подлинное чувство древности. Вероятно, эта проницательная чуткость была в самом воздухе эпохи. В живописи его почувствовали Васнецов, Рерих, Билибин; в музыке – Стравинский: дух языческой древности в одеждах модернизма.

Вкус к славянской старине, не вытесняя любви к Элладе, захватил Кондратьева, пробудив еще одну сторону его таланта. Через несколько лет выйдет его сборник «мифологических рассказов» («Белый козел»), и критика отметит – как лучший в этой книге – рассказ «Домовой», написанный с добрым лукавым юмором еще в универ-

ситетские годы. Критика сравнивала «Домового» с прозой А. Ремизова, причем не в пользу последнего: «Здесь много какой-то милой, не надерганной и не вымученной, как у г. Ремизова, народной поэзии. Господин Кондратьев нисколько не уступает прозаику Кондратьеву. Язык его ярок и энергичен».

В кружке Никольского пережил Александр Кондратьев благотворные воздействия, в их числе излучавшиеся от Блока. Кружок издал в 1903 году «Литературно-художественный сборник» студентов Санкт-Петербургского университета с участием Кондратьева. Иллюстрации были выполнены студентами Академии Художеств под руководством Репина, человека чуждого модернизму, как, впрочем, настроен был и Никольский, под редакцией которого сборник вышел в свет. Несогласие с эстетическими взглядами Никольского привело к возникновению нового кружка, независимого от какого бы то ни было менторства. Инициативную группу составили С. Городецкий, В Пяст, А. Блок и А. Кондратьев. К созданному ими «Обществу молодого искусства» вскоре примкнул еще один поэт – В. Юнгер, в будущем близкий к акмеистам; затем еще один – Н.Недоброво, впоследствии более известный как критик, сыгравший немалую роль в Академии стиха при редакции журнала «Аполлон». В кружок вошли также поэты – Яков Годин, Петр Потемкин (будущий «сатирикоец»), а из художников – Т. Н. Гиппиус, сестра Зинаиды Гиппиус, и А. Н. Городецкий, брат поэта и, вероятно, первый русский футурист. В кружке несколько раз побывал А Белый. На одном из заседаний «Общества молодого искусства» Блок изумил присутствующих чтением «Балаганчика». Кружок издавал свой журнал – «Сусальное золото». Более значительным событием в жизни «Общества» стало издание первой книги Кондратьева – «Стихи А. К.». Автор скромно подписался инициалами, возможно, следуя своему учителю Анненскому, издавшему за год до того свои «Тихие песни» под анаграммой Ник. Т-о. Тираж стихотворений А. К. был 750 экземпляров, то есть намного превышал типичные для первой книги поэта 300 экземпляров. По-видимому, автор верил в успех.

На сборник никому не ведомого А. К. едва ли не первым отозвался Валерий Брюсов. Рецензия была напечатана в «Весах». Положительной ее назвать нельзя, однако в конце ее Брюсов писал: «Но при всем том в книге г. А К. есть прекрасные строфы и несколько целых стихотворений…. Судя по этим стихам, для г. А. К. как поэта есть будущее» Авторство Кондратьева не составляло секрета для Брюсова. Он обращал внимание на его стихи в журналах. В его более раннем отзыве на альманах «Гриф» говорится: «А. Кондратьев примыкает к новоклассическому движению, наметившемуся за последние

годы во всех литературах…. В стихах Кондратьева есть, однако, удачные строфы, достойные хороших мастеров парнасской школы». Брюсов пригласил поэта к сотрудничеству в символистских «Весах». Когда «Весы» закрылись и Брюсов руководил литературным отделом «Русской мысли», он предложил Кондратьеву сотрудничать и в этом журнале. В «Русской мысли» печатались его рассказы: «Ехидна», «Голова медузы», «Шепот Пана», исследование «Молодость поэта Щербины» и другие.

Еще до сотрудничества в « Весах» Кондратьев был приглашен Д. Мережковским и З. Гиппиус в журнал «Новый путь», печатавший произведения символистов. В редакции «Нового пути» Кондратьев познакомился с Вячеславом Ивановым и вскоре стал бывать у него на «башне», то есть в квартире на Таврической улице, где собирались поэты, философы, художники и где была основана так называемая Академия стиха. Весь Серебряный век, в лице его поэтов, Кондратьев знал лично. Этому способствовала интенсивная кружковая жизнь, та лаборатория, или «рабочая комната», по словам Анненского, в которой вырабатывалась культурная общность эпохи. Недаром у Кондратьева при всем его умении противостоять случайным влияниям мы находим не только любовь к матери муз Греции, но и разнообразные отголоски современной поэзии.

В 1905 – 1907 годах встречи петербургских поэтов иногда проходили в тесной квартирке Кондратьева на Галерной улице. Приходил Блок со своим другом поэтом Вильгельмом Зоргенфреем, Петр Потемкин, пушкинист Н. Лернер, побывали там М. Кузмин и прозаик Сергей Ауслендер. Читались новые произведения, вырабатывались вкус и противостояние натиску фотографического бытописательства. В го же время Кондратьев был завсегдатаем литературных собраний у Федора Сологуба. Там он прочел свой великолепный перевод «Песен Билитис» Пьера Луиса. Говоря о петербургских кружках, следует еще добавить десятилетнее участие в самом, пожалуй, многолюдном – в Обществе памяти Случевского, в котором Кондратьев был секретарем и таким образом познакомился практически со всем литературным Петербургом.

Роскошный журнал «Золотое руно», издававшийся миллионером, меценатом и художником Н. П. Рябушинским, объявил в 1906 году конкурс на тему «дьявол». Кондратьев, с его интересом к старинным поверьям, суевериям, ритуалам, оккультизму принял участие в конкурсе и получил премию за лучшее стихотворение. Интерес литературных кругов к мифологическим сюжетам достиг своего зенита. Как писатель Кондратьев принадлежал именно к тем литературным кругам, которые определяли художественный климат эпохи. Он уже

сложился к тому времени как поэт со своим лицом. Он был модернистом, но только в том смысле, в каком относилось модернизму распространенное в начале века неогреческое направление. Был близок к символистам, но назвать его самого символистом можно лишь с оговорками. Больше, чем современники, ему были близки поэты XIX века – А. К. Толстой, Н. Щербина, Л. Мей. А. Майков, П. Бутурлин.

«Конечно, можно составить длинный список поэтов русских и французских, оказавших свое влияние, притом слишком явное, на поэзию Ал. Кондратьева», – писал в 1909 году Брюсов в связи с выходом в свет нового сборника Кондратьева «Стихи. Книга вторая (Черная Венера)». И все же на картинах и образах его поэзии «есть отблеск вечной красоты Эллады, вечной тайны древнего Востока». Лучшими в книге Брюсов считал антологические стихи, то есть написанные в духе и в манере греческой античности. Такие стихи писали русские поэты XIX века от Батюшкова до Фета. Брюсов отмечал живучесть антологической поэзии, вновь и вновь возрождающейся в каждом новом поколении. «Хорошие, четкие, правильные, холодные стихи», – заметил о «Черной Венере» рецензент газеты «Речь». «У Ал. Кондратьева, – писал Сергей Соловьев, – несомненный талант, свежий и яркий…. Он уже пленил нас мифологическим романом «Сатиресса», где столько языческой чувственности и красочности, где мало античной пасторали, но много Бёклина…. Новая книга Кондратьева производит прекрасное впечатление. Чувствуется, что поэт глубоко любит Грецию – эту мать муз – без понимания и изучения которой едва ли возможна теперь поэзия».

В журнале «Новое слово» неизвестный рецензент (возможно, Александр Измайлов) писал о Кондратьеве: «…Поэт не без выдающихся достоинств; у него прекрасный, несколько холодный стиль и образы его точны и нарядны…. Язык его ярок и энергичен». Затем о его прозе: «Со времени первых выступлений своих г. Кондратьев обратил на себя внимание красивой манерой писать и рассказывать. Его – поэмы в прозе знакомят нас с Эребом, Хароном и Цербером, крылатыми девами с обнаженной грудью и распушенными волосами, Эриниями и другими обитателями Аида»

В поэзии Серебряного века неоэллиниэму отдали дань многие: Анненский и Вячеслав Иванов, Алексей Скалдин и начинающий Георгий Иванов, Сергей Соловьев и Николай Гумилев. Но, пожалуй, никто не был предан этому литературному течению с такой широтой, как Кондратьев. Его переводы «Песен Билитис» (1907), мифологический роман «Сатиресса» (1907), две книги мифологических рассказов – «Белый козел» (1908) и «Улыбка Ашеры» (1911), драма-

тический эпизод «Елена» (1917) – все это звенья той же самой неоэллинистической цепи. Однако в «Черную Венеру» включены не только антологические стихи. Тематика книги обширнее. В сборник вошли, например, стихотворения, связанные со славянским фольклором («Болотные бесенята», «Лесной дух», «Русалки»), пролагающие путь к «Славянским богам», поэтической книге, изданной Кондратьевым в эмиграции.

Не все, написанное им до революции, вошло в книги. Он много печатался в периодических изданиях, нередко в самых лучших журналах тех лет в символистском «Перевале», в эстетическом «Аполлоне», в упомянутых уже «Весах», «Золотом руне», «Русской мысли». Но кроме того, в тонких журналах – «Огонек», «Лукоморье», «Черное и белое». Однажды, уже в эмиграции, он составил список периодических изданий (надо сказать, неполный), в которых когда-либо печатался. Вышло более тридцати названий. Лучшие написанные им стихи стали появляться в печати после «Черной Венеры». Они упоительны и сладкозвучны:

Ветра шум в черешневых вершинах,
Бабочки залетной крыльев трепет,
Блеск жуков зеленых на жасминах
И листвы над ухом сладкий лепет.

Перечитайте вслух первую строку, украшенную такой изысканной аллитерацией. В 1908 году он открыл для себя Волынь и каждое лето бывал там, в усадьбе на берегу Горыни, близ древнего села Дорогобуж. Местность там холмистая, живописная, с преобладающими в пейзаже мягкими очертаниями. В своих письмах он не раз говорил, что «знает свою судьбу», но тогда вряд ли он мог предположить, что Волынь станет для него – нет, не второй родиной, но, по крайней мере, местом, где он проживет безвыездно двадцать один год, где, собственно, и окончится его творческая жизнь как поэта. Стихи о Волыни и целый ряд других он собрал в маленькую книгу «Закат», которой при его жизни не суждено было осуществиться. Книжка вышла в США почти через четверть века после его смерти.

К началу 1910-х годов Кондратьев занял видное место в нашей литературе. Его воспринимают как знатока мифологии, как тонкого стилиста. Гумилев в своем отзыве на один современный сборник стихов, вышедший с предисловием Кондратьева, говорит, что к его исчерпывающей и стилистически утонченной статье «трудно что-нибудь прибавить». По поводу выхода в свет сборника рассказов Кондратьева «Улыбка Ашеры» Брюсов писал ему, что книга радует

совершенством языка, и добавлял, что, возможно, это лучший русский язык в современной прозе. Кондратьев, безусловно, ценил эти отзывы. «Я всегда предпочитал похвалу нескольких знающих людей дешевой славе в широких кругах читающей публики», – писал он Александру Амфитеатрову, в газете которого («Россия») Кондратьев дебютировал как прозаик.

Многие из поэтов Серебряного века становились открывателями забытых и неизвестных страниц нашей литературы. Валерий Брюсов возрождал интерес к наследию Федора Тютчева. Александр Блок писал о творчестве Аполлона Григорьева. Борис Садовской был первоклассным знатоком Афанасия Фета, Владимир Пяст изучал жизненный путь Льва Мея. Для Кондратьева таким поэтом стал малоизвестный Николай Щербина, знаток классической древности. Свою «Черную Венеру» он посвятил памяти Аполлона Майкова и Николая Щербины, о котором написал исследование. Но главная историко-литературная работа Кондратьева – «Граф А. К. Толстой». Она вышла отдельной книгой в 1912 году. Этот интерес имел за собой как литературные, так и личные психологические причины. «В юности Толстого, – писал Кондратьев, – не было ни одного горя, оставившего след в его душе». Вспомним слова Блока о душевном здоровье Кондратьева, чье творчество всегда в пределах гармонии. К Толстому его влекло многое – культ свободы и героические баллады на тему истории; опоэтизированная им древность и лирические стихотворения, которые не вписывались в господствующее направление, историческое мировоззрение «как вероисповедание своего поэтического катехизиса» и знакомство с оккультными науками. Личность Толстого для Кондратьева – «идеал благородства, правды и искренности».

Сам себя Кондратьев называл «человеком кабинетным». В литературных кружках он участвовал активно, даже в такой степени, что через его судьбу можно проследить историю петербургской литературы Серебряного века. Однако в общественные организации никогда не входил. Окончив университет в 1902 году, Кондратьев поступил на службу в Министерство путей сообщения, что позволило ему, человеку небогатому, совершить несколько заграничных путешествий по железной дороге. Затем он десять лет служил делопроизводителем в Канцелярии Государственной Думы. «Через служебные кабинеты мои прошли, говоря при мне и со мною, многие деятели революции». И саму Февральскую революцию он мог наблюдать у себя на работе в Думе – в Таврическом и Мариинском дворцах.

Специалист в области государственного права, он понимал, что «все народы в период революции испытывают нечто вроде нравст-

венного разложения». Он не разделял энтузиазма, охватившего Петроград в дни Февраля. Он знал из первых рук, что революция делалась бесчестно. «Распространено мнение, – рассказывал Кондратьев, – что Февральскую революцию сделала Дума. Но в Думе преобладали правые, которые никогда революцию не поддержали бы. Маленькая группа левых думцев без голосования объявила себя Временным Комитетом, действующим от лица Думы, но без ее согласия. Приказ войскам не выступать для подавления мятежа был дан якобы от лица Думы, хотя ее члены разбежались и прятались от мятежников». Кондратьев запомнил множество подробностей о тех исторических днях и мог бы написать книгу. К сожалению, не написал. Сохранились лишь отрывочные воспоминания.

В январе 1918 года он уехал в Крым, куда предварительно отправил свою семью – жену, дочь и сына. Поселился в Ялте. Встречался с поэтами – с Сергеем Кречетовым, Николаем Недоброво. Михаилом Струве, который, как и он сам, бежали от разгула революционней стихии. Душою поэт чувствовал свое единение с другой стихией – с морем, горами, лесом, с матерью-природой, которую обожествлял так же, как боготворили ее любимые им пантеистические поэты Эллады.

Лазурь небес над моей головою;
Налево горы, покрытые лесом;
Прибоя ропот доносится справа
Сквозь шум и шелест развесистых дубов…
Люблю твой голос, о Матерь-Природа;
Твоё дыханье ловлю всею грудью,
Любуюсь блеском серебряным моря,
К тебе припавшего в страсти бессонной.
Я счастлив славить Тебя, о богиня,
Твои златисто-зелёные ризы,
Твоих цикад несмолкаемый скрежет,
Жужжанье пчёл и кузнечиков взлёты…
К чему мне рифмы! Твоё обаянье
Должно быть славимо речью свободной.
Мои хвалы, может быть, и не стройны,
Но с птичьим свистом и лепетом листьев,
С гуденьем пчёл и шумящим прибоем
Они сольются в ритмическом гимне
Тебе, палимая ласками Солнца,
Тебе, объятая вспененным морем,

Дыханье пьющая ветров влюблённых,
Матерь-Кибела.

Чистый лиризм, приятие зримого мира, благоговейное чувство природы, подспудная связь личного с космическим дышат в этих «старомодных» строках. Но на вдохновение не может быть моды, и в каких бы одеждах оно ни явилось, оно остается духовной ценностью, ибо идет не от человеческого эгоцентризма, а от состояния просветленности.

В конце лета семья Кондратьева осталась без средств к существованию. Нужно было перебираться туда, где была хотя бы крыша над головой. Единственным таким местом на земле оставалась для них усадьба на Волыни, куда Кондратьевы переехали в сентябре 1918 года. Пять раз менялась власть в Ровно – то правительство Скоропадского, то немцы, то большевики. В 1920 году Волынь была захвачена Польшей. Кондратьев горько шутил: не я уехал из России – Россия уехала от меня. Усадьба находилась в полуверсте от села Дорогобуж, некогда бывшего стольным городом удельного князя Давида Игоревича. Неподалеку от усадьбы стояла каменная церковь XVI века. «Я мало выезжаю из усадьбы моей старой больной тещи, мало даже вижусь с соседями». Время отнимали у него хозяйственные заботы – пилил, колол, носил дрова, топил печь, качал в колодце воду, ездил на мельницу, сторожил сад, работал в огороде. «По сравнению с другими эмигрантами, живется мне сносно, – говорил Кондратьев, – сыт и кров над головой; при наступлении холодов рублю старые вязы в саду». Иногда он ездил в Ровно, ближайший город, в двадцати с небольшим верстах от Дорогобужа. Брал книги в гимназической библиотеке. Город мало изменился с тех пор, когда еще был уездным центром Волынской губернии.

Усадьба находилась в верстах пятидесяти от советско-польской границы. Кондратьев мечтал «уехать с семьею куда-нибудь подальше от советского кратера, лава которого может нас в один прекрасный день залить». Уехать оказалось невозможным. На усадебные десятины покупателя не нашлось. Дохода усадьба не приносила. Не было средств, чтобы дать образование детям. Дочь пришлось взять из пятого класса гимназии – нечем было платить за обучение. Кондратьеву порой не хватало денег на покупку бумаги. Он писал на клочках. Когда-то я видел у дочери Кондратьева эти обрезки бумаги (вроде каталожных карточек, но вдвое меньше), плотно исписанные убористым почерком.

Уезжая из Петрограда, он оставил свою библиотеку. А здесь в старом помещичьем доме над Горынь-рекою, среди занесенных снегом

холмов он продолжал свой бесконечный литературный труд. Нужных книг негде достать. «Я так любил запах библиотек и архивов. Как я скучаю по такой скромной (собирал все-таки с детства), как моя, оставленной там», – писал он А. Амфитеатрову. В соседнем селе однажды нашел в кузнице несколько изодранных книг; среди них была одна, без начала и без конца, но особенно драгоценная для Кондратьева – «О поверьях, суеверьях и предрассудках русского народа» Владимира Ивановича Даля. Книги, найденные у кузнеца, еще недавно принадлежали кому-то из местных дворян, возможно, потомкам знаменитого ученого педагога Ушинского. Книги нужны были для работ по русскому фольклору, для составлявшегося Кондратьевым словаря поэтов, для исследования о русских эпиграммах. Дело подвигалось медленно, но работал он систематически, и многое было сделано, однако этих исследований мы никогда не увидим – они остались в усадьбе, которая в 1939 году была разграблена, а в начале войны сожжена.

Лирических стихотворений, написанных в Дорогобуже, немного. Сильнейшее из них «В день Покрова», написанное на основании мистического опыта – видения явившейся ему Девы Марии.

Труд и горе сложив за порогом,
Мы, чья вера в покров Твой жива,
В сельском храме старинном и строгом
Собрались перед Господом Богом
Во всерадостный день Покрова.

И другое стихотворение «В церкви в день Успенья». В нем упомянута та же строгая каменная церковь с зеленым куполом, построенная в XVI веке на древнем фундаменте, оставшемся от XI столетия.

Догорают маленькие свечи
Перед Девой на иконостасе,
А Она, полна забот о Спасе,
Ножки обняла Ему и плечи.
Девство сохранившая, рождая,
Мир Ты не забыла в день Успенья,
В день восстанья к жизни бесконечной,
Матерь Жизни, Дева Преблагая.
По Твоей молитве Сын Предвечный
Наши души сохранит от тленья.

По инициативе Кондратьева был основан кружок литераторов. Собирались в доме поэтессы Лидии Эразмовны Сеницкой – на Гминной улице в Ровно: К. Оленин, Е. Вадимов, И. Кулиш, А. Май, В. Брандт, Д. Бохан и другие. В рукописи сохранилось шуточное стихотворение Кондратьева, посвященное Сеницкой.

…И поэтому в сильной обиде я
На коварно-обманчивых муз:
Поэтесса Сеницкая Лидия
С ними в тесный вступила союз.

Эти музы, слетаясь на Гминную,
В девять сил неустанно творят,
То ей сказку нашепчут предлинную,
То сонет, то балет смастерят.

Там, трудясь, позабыли лукавые
Аполлона, поэтов, Парнас.
Без венка, в грустном поиске славы я
Тщетно жду, что заржет мой Пегас.

Он ко мне не бежит. Сивым мерином
Обозвав его, больше не жду.
И на Гминную шагом размеренным
Музу сманивать тихо иду.

В свой эмигрантский период Кондратьев написал значительно больше эпических стихотворений, чем лирических. Это был цикл сонетов на тему славянской мифологии. Он ставил перед собой почти неосуществимую задачу – реконструировать некогда богатейшую мифологию, собрать малоизвестные штрихи и из россыпи отрывочных сведений воссоздать мозаичную картину исчезнувшего пантеона. Смысл этой работы фольклориста и стихотворца сам он определил как попытку хотя бы частичного воскрешения образов забытых богов и низших духов. Он считал, что следовал в своей работе малоизвестному поэту XIX века Петру Бутурлину.

Кондратьев был большим знатоком отечественной поэзии и обращал особенное внимание на имена поэтов, отодвинутых на задворки литературного процесса. Впервые он мог заметить имя Бутурлина, листая номера «Живописного обозрения», в котором сам Кондратьев дебютировал как поэт. Бутурлин писал антологические стихи и уже одним этим был для Кондратьева интересен. Он приоб-

рел для своей библиотеки изданную посмертно книжку Бутурлина «Сонеты», в которой содержались стихотворения исторические, мифологические и фольклорные. Что для Кондратьева могло быть ближе, чем эта тематика! Он запомнил такие сонеты, как «Ярило» и «Велес» Видимо, тогда же, в конце 1890-х годов, у Кондратьева возник замысел продолжить это дело художественной реконструкция и небесных, и демонических ликов славянских преданий. В осуществлении своих замыслов Кондратьев отличался необыкновенной последовательностью. Каждая существенная для него тема становилась темой всей творческой жизни. Над демонологическим романом «На берегах Ярыни» он работал фактически тридцать лет, с перерывами. Отрывок из этого произведения появился в печати в 1901 году, а сам роман вышел в 1930-м. Первое знакомство с сонетами Бутурлина, давшими Кондратьеву импульс, имело место около 1896 года, а сборник сонетов «Славянские боги» напечатан через сорок лет. То же самое можно сказать и о последнем произведении Кондратьева – повести «Сны». Началось в 1898 году на первом курсе университета; проснувшись однажды весенним утром, он стал вспоминать подробности виденного сна. Он должен был сдавать экзамен знаменитому профессору Гримму.

«Во сне увидел я X аудиторию Петербургского университета, экзаменационный стол и профессора Д. Д. Гримма, к которому я будто бы подошел. Глядя на меня в упор, экзаменатор обратился ко мне со словами: Дайте-ка сюда вашу программу. И когда я подал ему свои исписанные листки, Давид Давидович начал меня стыдить, говоря, что я не мальчишка-гимназист…. После этого профессор стал меня спрашивать по курсу. Я долго ему что-то отвечал, а потом запнулся. Нет, вы этого билета не знаете, – сказал Гримм, – отвечайте мне вот этот…

В этот момент я проснулся. Было светлое майское петербургское утро…. Виденное во сне место я прочел много раз…. Когда я пришел в X аудиторию и был вызван к ответу, первым вопросом профессора, внимательно на меня посмотревшего, было: А где ваша программа?..

Посмотрев на меня испытующим и, как мне показалось тогда, несколько разочарованным взором, Давид Давидович произнес: Ну, тяните билет…. В середине билета оказался, однако, к моему неудовольствию и удивлению, вопрос, который я совершенно забыл… Профессор вперил в меня свои неподвижные, как у сонной рыбы, глаза и молча терпеливо слушал, как бы ожидая, когда я, наконец, дойду до незнакомого мне места. Я подошел-таки к роковому вопро-

су и… замолчал. – Что же, отвечайте, – предложил мне экзаменатор. Я попробовал сымпровизировать и – неудачно.

– Нет, вы своего билета не знаете, – сказал Гримм совершенно как во сне. – Отвечайте мне вот этот. И жестом, уже виденным мною ночью, он показал мне на программе то место, которого я так ждал. Боже, как я забарабанил, приводя не только то, что было в литографированных записках, но и те подробности, которых там не было!»

После этого случая Кондратьев многократно подходил к теме предвидений вплотную, пока она не вылилась в повесть «Сны», которая написана была уже в эмиграция, лет через сорок после памятного вещего сна.

Вернемся к мастерски написанным «Славянским богам». Книга вышла летом 1936 года малым тиражом на скудные средства автора и в продажу не поступала. Сонеты в сборнике не датированы. Многие из них я смог датировать, читая рукописи Кондратьева. Самая ранняя встречающаяся дата – 1921, самая поздняя – 1932, так что работа над этой небольшой книжкой продолжалась более десяти лет.

Замысел кристаллизовался не сразу, решение выпустить книгу «Славянские боги» отдельным изданием принято было в начале 1930 года. Он писал в это время А. Амфитеатрову: «Славянскую мифологию я решил все-таки по мере возможности восстановить в форме книги сонетов, которых написал уже около 50 и частью напечатал. Остановка за некоторыми личностями вроде Чернобога, о котором, кроме двух строк у Гельмгольда и намека в Книтлинг-саге, ничего почти нет в признаваемых наукой источниках».

Особенность этой книги, ее несходство с тысячами других поэтических сборников в том, что в «Славянских богах» художественное воображение автора проверяется и обрамляется обширнейшими познаниями в области филологии, фольклора, истории. Эта книга – галерея сверхъестественных автопортретов. Каждый из героев ее, начиная с бога-прародителя Сварога и кончая демонами сна, произносит монолог длиной в 14 сонетных строк, и в этом сжатом объеме умещаются выразительные черты каждого из представленных в сборнике сверхъестественных существ.

За мастерской отделкой неопытный взгляд, пожалуй, не разглядит труда целой жизни, настойчивого собирания по крупицам фольклорных и исторических черточек, из которых складываются графически четкие портреты. В бумагах Кондратьева сохранились заготовки – выписки из сотен источников – поверья, суеверия, приметы и прочее:

– Мерцана – дочь Перуна, соответствует Зарнице.

– От Рождества до Крещения нельзя шить.

– Чтобы не видеть дурного сна, надо обойти вокруг двора или дома.

– Идти утром за грибами надо непременно не евши.

– Сретение – встреча семейной жены Зимы и гулящей девки Лета.

– Жива – богиня жизни… имела храм в Словении.

– По окончании жатвы жнецы катаются по ниве, произнося заклятие: «Яровая жнивушка, отдай мою силушку на долгую зимушку».

– Водяница – нечистая сила в водах. Поляница – в полях и вообще на земле.

– Плясовицы – бабы некрещеные выходят всякое утро рано на заре, с распущенными косами на вершинах курганов солнце встречают (иногда при этом танцуют).

«Славянские боги» стали библиографической редкостью. Кондратьев раздарил несколько экземпляров (Глебу Струве, Александру Амфитеатрову, Лидии Сеницкой, Константину Оленину и немногим другим), остальное – то есть почти весь тираж – пропало. В 1950-е годы Кондратьев хотел выпустить второе издание, дополнив его несколькими не публиковавшимися сонетами. Осуществить этот замысел ни он, ни его дочь, жившая в Нью-Йорке, не сумели. Поэт Константин Оленин, встречавшийся в Ровно с Кондратьевым, написал в подражание ему сонет с посвящением «Певцу «Славянских богов» А. А. Кондратьеву»:

Дух предка (добрый чур) твой охраняет дом
От хищного врага, от всякого изъяна.
То в виде крысы он, то в виде таракана
Сидит под печкою, но видит все кругом.
Он смотрит с завистью, как ты, скрипя пером,
В ночи касаешься забытых струн Баяна,
Осколки странные, найдя среди бурьяна,
Им возвращаешь жизнь искусством и трудом.
Блажен, кто чувствует, как величав Перун,
Блажен, кто чувствует очарованье струн,
Дыханья древности и жажды человечьей,
Дух предка твоего (забытый витязь) юн…
Пусть стану чуром я – в пыли увековечусь…
Благослови, Дажбог, таинственную нечисть.

В эмиграции была издана еще одна книга Кондратьева – роман «На берегах Ярыни». Вышел он в январе 1930 года в берлинском издательстве «Медный всадник». И мифологические «Славянские боги», и этот демонологический роман – две стороны одного и того

же увлечения целой жизни. По берегам фантастической Ярыни (напоминающей по звучанию реку Горынь, близ которой жил Кондратьев) действуют, встречаются, радуются жизни и ссорятся лешие, болотницы, водяные, русалки и другие создания старинных небылиц и быличек, преданий и поверий. Это своего рода энциклопедия русского фольклора в форме интереснейшего романа. За всю историю русской литературы не было другого художественного произведения, столь насыщенного знанием фольклора. «Осведомленность автора в этом направлении прямо поразительна, – писал в рижской газете «Сегодня» А. Амфитеатров, – наиболее замечательною стороною романа г. Кондратьева является доказательное обнаружение им теснейшей живой связи быта русской деревни…с верованиями древнейшего стихийного язычества».

Кондратьев опубликовал в эмиграции только две книги. Часть написанного им в эти годы безвозвратно пропала, многое разбросано в эмигрантских газетах и ждет своего ценителя и собирателя. По письмам Кондратьева можно восстановить круг его литературных занятий. Все, что он писал в Дорогобуже в период между двух мировых войн, связано с теми же интересами, которые зародились еще в Петербурге, и с теми же замечательными людьми, с которыми сводила его судьба. Все написанные им короткие мемуары – в жанре «то, что вспомнилось». Библиография работ Кондратьева все еще не составлена, так что возможны открытия. В «Волынском слове» (Ровно) он напечатал мемуарные очерки «Близкие Тени», заметки о Есенине, Блоке, Недоброво. В других периодических изданиях находим его воспоминания о Гумилеве, Сологубе, Волошине, Пясте, Кречетове, Иерониме Ясинском, мемуарные странички о Петербургском университете, о революции 1917 года. Его работы историко-литературного характера включают статьи о Пушкине, Мее, А. К. Толстом. Писал он также рецензии на книги эмигрантских авторов. Еще одна тема, принесенная им в эмиграцию, – беллетризованные этюды по славянской мифологии, такие, как «Души деревьев» или «Священные волшебные и вещие птицы». В эмигрантской периодике было напечатано несколько его рассказов. В отдельное издание он их так и не собрал. Один из рассказов – «Статуя по заказу Береники» принадлежит к апокрифам, повествующим об эпизоде из жизни Иисуса Христа по Его воскресении. Написан он так хорошо, что вспоминаются слова Брюсова о кондратьевской «Улыбке Ашеры»: язык Вашей прозы лучший в современной русской литературе.

Столь же хороша стилистически повесть «Сны» – последнее произведение Кондратьва-прозаика. Это едва ли не лучший образец готической повести, редкого в русской литературе жанра. Сам этот

жанр у нас не привился, хотя его образцы – пусть не столь многочисленные, как, скажем, в английской литературе, у русских писателей встречаются, в частности у А. К. Толстого. В готической повести, новелле, романе действие происходит в каком-нибудь таинственном месте, чаще всего в замке, где случаются загадочные события, сопровождаемые вмешательством мистических сил. Кондратьев перенес готический сюжет в обстановку Серебряного века, когда «процветал интерес к оккультизму и каждый уважающий себя «декадент» обязательно имел у себя на видном месте том Элифаса Леви или Станислава Гэта». События повести развертываются где-то в 1904 – 1908 годах, когда Кондратьев служил в Министерстве путей сообщения. Прослеживается автобиографическая канва, видны реальные прототипы героев, живших в Петербурге; только эпилог переносит нас на Волынь, в разграбленную усадьбу, и снова чувствуется автобиографический подтекст. Историческая правда в сочетании со сверхъестественными происшествиями, конкретные приметы быта, пронизанные фантастикой, – и все это объединено судьбой и жизненным опытом автора-повествователя, рассказывающего о невероятных событиях с обыденной интонацией, чудным, четким, чистым слогом, увлекательно и «всегда в пределах гармонии».

Неожиданными бывают судьбы рукописей, порой фантастичными. Рукопись повести «Сны», написанную ясным незатейливым почерком петербургского делопроизводителя (каковым и был Кондратьев часть своей жизни), мне неожиданно посчастливилось отыскать лет через двадцать после смерти Кондратьева в калифорнийском городке, в часе езды от Сан-Франциско. В 1990 году повесть была впервые напечатана в «Новом Журнале».

Что же касается его последних выступлений в печати со стихами, то их надо искать в «Антологии русской поэзии в Польше» (Варшава, 1937) и в маленьком сборнике «Вертоград небесный» (Варшава, 1937). Кондратьев хотел опубликовать «Вертоград» как свой новый сборник стихов. Издатель решил по-своему; вместо индивидуального был напечатан маленький коллективный сборник. Обложка была обезображена неумелым рисунком, изображающим то ли ангела, то ли гения, играющего на «священной лире». «На лире только четыре струны, а лицо у гения весьма подозрительное», – сказал Кондратьев. В «Священной лире» напечатана была поэтическая молитва Кондратьева.

Мне ли, с силами столь невеликими,
Слить мой стих в славословящий хор

С херувимами пламенноликими,
Сонмов ангельских внять приговор?!

О, Звезда Незакатная, Божия,
О, Светильник надмирных высот,
Я кладу у святого подножия
Вместе с песнью души моей гнёт.

… На молитву, к Тебе вознесённую,
Обрати, Милосердная, взор
И над Русью, тоской угнетённую,
Благодатный простри омофор!

В 1939 году после четвертого раздела Польши вся Волынь, включая Дорогобуж и Ровно, отошла к СССР. Усадьба, в которой поэт прожил почти безвыездно 21 год, была разгромлена. Разорили архив, в котором было много неопубликованных работ Кондратьева. Тираж «Славянских богов» был в порыве атеистического рвения уничтожен сельским старостой, увидевшим на обложке слово «боги». Кондратьев уходил из усадьбы пешком, спрятав в подкладке шубы записные книжки со стихами, в том числе маленькую черную книжку, сохранившуюся еще с 1904 года.

Потянулись жестокие военные и суровья послевоенные беженские годы с многочисленными трудными переездами. Из Ровно попал он в Варшаву, потом жил в польском городке Хелме, потом около Кракова. Позднее Кондратьев переехал в Австрию, а в апреле 1945 года оказался близ Берлина под бомбами. Совершенно случайно ему удалось уехать в Белград, где он прожил до 1950 года. О пяти годах его жизни в Югославии почти ничего не известно. Затем еще был лагерь для перемещенных лиц в Триесте. Там издавался маленький лагерный журнал, Кондратьев печатался в нем. Вряд ли сохранился у кого-нибудь хоть единственный экземпляр этого триестского журнальчика.

В 1952 году лагерь собирались закрыть, дочь уехала в США, а Кондратьев перебрался в Швейцарию. Он нашел приют в доме для престарелых с экзотическим названием «Пеликан». Городок Веезен стоит около озера Валлен, в долине, окруженной горами. В городке была практически одна-единственная улица. Веезен был такой же глухоманью, как и село Дорогобуж. Но там были близкие, можно было раз в месяц съездить в Ровно, встретиться с друзьями. В Веезене он жил в полном одиночестве, без знания немецкого языка, в

комнатке на четверых. Он сознавал, что как писатель он теперь «совсем забыт».

Дом был устроен евангелистами. Кондратьеву давали читать наивнейшую стерильно–протестантскую книжку «Евангелие детства Христова». Он любил гулять, но все поля были за проволочными заборами – частная собственность. «Остается соблазн – свернуть по одной из дорожек, ведущих в горы». Ходьба в горах утомляла 76-летнего Кондратьева. После длительной прогулки в горах или вдоль долины до соседнего городка он часами проводил с книгой. Атмосфера в комнате была для него неприятной, этим и объяснялись его ежедневные продолжительные прогулки. В июне 1954 года его сбил мотоцикл. Последствием стала усиливающаяся амнезия. Он уже ничего не писал, кроме писем («музы меня покинули, ничего писать не могу»). Последнее стихотворение, появившееся в печати при жизни Кондратьева, – «Лето», написанное им в одну из еще дореволюционных поездок в Дорогобуж. Должно быть, даже не он сам, а кто-то из знакомых послал это стихотворение в редакцию парижского журнала «Возрождение» в том же году, когда Кондратьев поселился в приюте «Пеликан».

Жизнь была тихая, сытая и скучная. В конце 1957 года Кондратьев получил вызов от дочери. Поехал в американское консульство в Цюрих за визой. Предложили присягнуть, что он не будет исповедовать и проповедовать многоженство.

– Зачем? Мне ведь 81 год.

– Не важно – присягайте.

Теперь надо было разбираться с архивом. Накопилось несколько коробок писем, выписки из книг по оккультным наукам и славянскому фольклору, неоконченные повести и романы. Груды бумаг были для него, уже старого человека, неподъемным грузом. Он третий раз в жизни терял свой архив: при отъезде из Петрограда, при бегстве из Дорогобужа и теперь перед отлетом в США. Часть отдал на хранение, остальное пропало.

В конце 1957 года в сопровождении медсестры Кондратьев прилетел в Нью-Йорк. Его поселили на Толстовской ферме. Однажды с дочерью он пришел в славянский отдел Нью-Йоркской публичной библиотеки. Заказали книги Александра Алексеевича Кондратьева, имевшиеся в библиотеке. Дочь ушла, оставив его наедине с книгами, изданными в Петербурге. Когда она вернулась, Кондратьев сказал ей с чувством: «Неужели это я написал?!»

Из Толстовской фермы пришлось его перевести в дом для престарелых в город Наяк неподалеку от Нью-Йорка. Рано утром 26 мая 1967 года он умер в наякской больнице, забытый всеми, кроме не-

скольких близких ему людей. Ему только что исполнился 91 год. Он пережил почта всех, о ком когда-либо писал в своих воспоминаниях, кому посвящал стихи, некоторых пережил надолго – Анненского, Гумилева, Блока, Брюсова, Сологуба, Недоброво, С. Кречетова, Пяста и еще многих талантливых людей Серебряного века, с которыми его свела судьба. Его похоронили на православном кладбище в Ново-Дивеево, штат Нью-Йорк.

Лирика Кондратьева тесными узами связана с тремя полюбившимися ему на всю жизнь местами – Петербургом, Волынью и Грецией; его эпические стихотворения – со славянскими древностями. Во многих случаях стихи Кондратьева узнаются «по почерку». Как мало кто другой в истории русской поэзии он приблизил к нам дух и ценности эллинской и славянской древности. В его стихах встречаются образцы звукописи – той осознанной фонетики, которая несет с собой тонкие обертоны смысла. Некоторые его лирические стихотворения звучат как гимны источнику человечности. В религиозной лирике он вдохновляется благоговением, в пейзажной – полон любви к зримому миру, в любовной – сладкозвучен, как сирены. Его эпические стихотворения из «Славянских богов» – своего рода филологические исследования в форме сонета, но прежде всего это произведения художника слова.

На художественной палитре Кондратьева есть такие краски, в звучании его лиры – такие ноты, которые не забываются и которые показывают его поэтом со своим голосом и своим собственным стилем.

Сергей Бонгарт. Портрет Ивана Елагина

Александр Карпенко
Москва, Россия

Часть 1. «КУРГАН»[28] ИВАНА ЕЛАГИНА

Иван Елагин – выдающийся поэт второй волны эмиграции. Это человек широкого дарования, у которого в семье стихи писали и отец, и даже дед. Но мне хотелось бы особо отметить эго поэтический вклад в развенчание культа личности Сталина. Я не припоминаю голос такой мощи, повествующий об этих страшных страницах нашей истории, который прозвучал бы именно в стихотворных строках. Осип Мандельштам – да, он пострадал от усатого генералиссимуса. Но, кроме строк про кремлевского горца, у него нет ничего, что бы рассказывало нам о геноциде лучших людей, произошедшем в СССР в 1937-м году. Он просто не успел. А вот Елагин, которому в то время исполнилось 19 лет, и у которого был расстрелян отец, запомнил этот кровавый год на всю оставшуюся жизнь – это он носил в пересыльную тюрьму передачи своему отцу. В сущности, его книга «Курган» целиком посвящена этой трагической теме. Хотя сам поэт не пострадал лично, бульдозер времени прошёлся по самым близким людям Елагина, и он уже не смог ни забыть, ни простить это до конца своих дней. Мало кто знает, что в талантливой семье Матвеевых – Елагиных стихи пишет ещё и двоюродная сестра Ивана Елагина – известный поэт и бард Новелла Матвеева, и дочь от первой жены, поэтессы Ольги Анстей, Елена Матвеева.

Название книги Елагина «Курган» точное, но «непрямое». Первая ассоциация – насыпь, захоронение солдат, воевавших за родину и павших в неравном бою. Но 37-й год – разве это курган? И вообще, время – это текучесть мгновения, а холмы и курганы – вещи пространственные. Но поэт превращает объект в метафору, в некий пространственно-временной континуум, то же самое он делает и со звёздами, об этом речь пойдёт впереди. Курган Елагина, безусловно, условен, но поэт бережно похоронил в нём всех павших в борьбе со сталинским режимом. Виноват ли лично Сталин во всех этих смертях? Возможно, нет.

Не нужно дополнительно чернить злодея, он и так чёрен. Сталин создал условия, при которых низменные наклонности людей получили небывалую пищу для своей деятельности.

---

[28] *Елагин, Иван*. Курган. – Frankfurt am Main: Посев, 1987.

Иван Елагин прямо пишет, что их управдом получил в личное пользование жилплощади репрессированных. А сколько таких управдомов было по всей стране! Об этом же говорит и Михаил Булгаков в «Мастере и Маргарите».

Искренность и основательность свидетельств Ивана Елагина подкреплена тем немаловажным обстоятельством, что он в годы разгула репрессий был юношей, молодым человеком, у которого обострено чувство справедливости. А тут у него расстреливают собственного отца. И сам он чуть не попал под жернова режима. Но его спасли от расправы друзья.

А в институте всё я рассказал друзьям,
Я навсегда прощался с ними,
Я думал, что меня сошлют в Сибирь, а там
Сгноят в каком-нибудь Нарыме.

И вечером, один, сидел я в тишине.
Окна темнела крестовина.
Ждал, что придут за мной, но с шумом вдруг ко мне
Ввалились Жорж, Борис и Нина.

У каждого из них какой-то тюк в руке.
«Бери-ка теплые вещицы!» –
«Достали кое-что! Не дело налегке
Тебе по холоду тащиться!»

Но брать мне не пришлось тех сказочных даров.
Причиной опасений ложных
Была, как раз в ту ночь, проверка паспортов
У элементов ненадежных.

Страна, где прошлого тепла еще зола,
Страна, где волны страха катят,
Там хватит, может быть, на сто столетий зла,
Но и добра на сто столетий хватит.

Две последних строки – на мой взгляд, глубокий и чеканный по слогу «вердикт» на все времена русскому народу. Противопложности – смыкаются! Не было бы палачей, – возможно, не было бы в народе и столь крепкой дружбы, и такого отчаянного человколюбия. Посмертная реабилитация пострадавших – дело важное и нужное. Тем не менее, Иван Еленин мягко, уже с высоты почтенного возраста, иронизирует над подобным «восстановлением справедливости».

Действительно, разве новые указы о помиловании способны воскресить ему отца? И те, кто подписывали расстрельные приговоры, благополучно живут, получая государственную пенсию. Разве это справедливо? Они даже не покаялись! Да, пожалуй, именно покаяние, как со стороны этих людей, так и со стороны государства, могло бы разрешить прискорбную ситуацию. Но – вы не поверите – эти люди и не думали каяться! Скажу больше: палачи до конца своих дней были убеждены в том, что они казнят настоящих злодеев и настоящих врагов народа. Вот что действительно страшно!

Мы далеки от трагичности:
Самая страшная бойня
Названа «культом личности» –
Скромно. Благопристойно.

Читая трагический сборник стихов Ивана Елагина «Курган», составленный при жизни самим автором, невольно смотришь на историю России новыми глазами. Почему разные люди так расходятся во взглядах на сталинское время? Разгадка проста. Кто-то пострадал, кто-то нет. Кто-то потерял родителей или родственников, кого-то беда вообще обошла стороной. Кто-то вообще до сих пор называет Сталина «великим вождём» и «творцом Победы». Иван Елагин прямо говорит в своём стихотворении, о том, что история смягчила трагедию конца тридцатых годов прошлого века. Я думаю, что и не было никакого «культа личности». И без Сталина это продолжалось бы в таких же масштабах. Была уголовная, бандитская беспредельщина партийной верхушки и НКВД.

На мой взгляд, в своей книге «Курган» Иван Елагин коснулся метафизических вершин справедливости. Причем он вроде бы и не вопиет, как библейский Иов, но впечатление – сильнейшее. В сущности, поэзия Ивана Елагина представляет собой вселенскую исповедь, идущую от человека судьбы, тонко чувствующего эпоху. Он ещё достаточно сдержан в своих оценках – помогает то, что стихи были написаны не сразу, по горячим следам истории. Когда прошлое болит в человеке годами, а то и десятилетиями, постепенно прихо-

дят нужные слова. Елагин выступает за людей, в широком, вненациональном смысле, и против большевистской системы. Но в стихах мы не обнаружим политики. Всё решается чисто поэтическими средствами. И это превращает исповедь поэта в некий надмирный голос:

Год пыток, год смертей, год сталинских расправ,
Процессов, массовых расстрелов,
Вожди беснуются, стране хребет сломав,
И бед на сотни лет наделав!
Год ссылок и разлук, арестов и тревог,
Год всероссийского погрома!
Я вспоминаю блеск начальственных сапог
И грозный окрик управдома.

И горько отзывается в сердце поэта знаменитая соломоновская истина о том, что «всё проходит»: «Неужели мы всё забыли?». Безусловно, память живёт дольше в участниках и очевидцах тех страшных событий. Иным – нет дела до этих проблем, особенно новым поколениям. У них – свои «погромы», одно перебивает другое. Афганистан затмевает репрессии, Чернобыль – Афганистан, Чечня – Чернобыль – и так до бесконечности. Это не спасает правду российской истории, но помогает людям жить дальше. И только одинокий голос поэта ничего не забывает, он – совесть народа, он – колокол, который звонит по жертвам, которых забыло время.

О Россия – кромешная тьма…
О, куда они близких дели?
Они входят в наши дома,
Они щупают наши постели…

Разве мы забыли за год,
Как звонки полночные били,
Останавливались у ворот
Чёрные автомобили…

И замученных, и сирот –
Неужели мы всё забыли?

Стихи Елагина о репрессиях разбросаны тут и там по его двухтомнику (М., «Согласие», 1998), и я втайне благодарен поэту за то, что он объединил их в книге «Курган». Не могу сказать, что «тема-

тические» книги стихов всегда являются наилучшим решением, однако в данном случае Иван Елагин просто-напросто сэкономил время исследователей, проделав за них скрупулёзную работу собирателя. А ещё Иван Елагин иронично противопоставляет советскую «бесчеловечность», когда людей сбрасывают в общую могилу, американской «человечности» когда строятся кладбища для любимых животных. К слову, Россия (Советский Союз) далеко не одиноки в своём пренебрежении к человеческим ценностям.

Если у нас невозможно найти могилы Цветаевой и Мандельштама, то в Австрии не сыщешь могилу Моцарта, во Франции – великой актрисы Адриенны Лекуврер. Думаю, этот скорбный перечень можно продолжать ещё долго, и он мало зависит от географии. А кладбища для животных? Ну, пускай, во вне это не вызывает особого протеста. Животных любить проще, они бессловесны, и люди, не умеющие любить себе подобных, успешно реализуют свою потребность любить и быть любимыми на домашних животных.

Но мы немного отвлеклись – вернёмся, пожалуй, к гражданской лирике Ивана Елагина. Поражает разнообразие творческого диапазона поэта, даже в пределах его гражданской лирики. Поэт то выписывает прошлое в мельчайших деталях, то, наоборот, ударяется в метафизику, где каждая деталь норовит стать символом. В чём, на мой взгляд, ценность гражданских стихов Ивана Елагина? В том, что, несмотря на их бескомпромиссность, поэт не безапелляционен в своих мыслях, у него много тонких рассуждений, а порой проскальзывает даже ирония. Всё это, без сомнения, обогащает этот достаточно пафосный жанр. Например, Елагин творчески развивает философию общего дела Николая Фёдорова.

Но в бушующих блёстках
Всплывает из пены взволнованной
Паренёк из киоска
Со стаканом воды газированной.

И пока океаны
Миражи свои не растратили,
Человек всё стоит у каштана,
А вокруг человека приятели.

И над ним распростёрта
Та ветка – шумит, как шумела.
Воскрешение мёртвых
Наше общее с деревом дело.

Елагин писал эти строки, когда ещё не был изобретен способ воскрешения мертвых путем клонирования клеток. И поэт позиционирует стихотворчество как чудесный способ воскрешения ушедших. Нарисовал картинку, где они ещё живы – и так они уже никогда и никуда не уйдут с этой картинки.

Так он и папу своего любимого оставил жить навсегда на странице стихотворения. Отец – это тот человек, который стоит у каштана. А паренёк со стаканом газировки – его сын, будущий поэт Иван Елагин.

Поэт находит причину забвения трагедий: это вездесущее и неумолимое время. Дистанция делает преступления давно минувших дней музейными экспонатами:

Когда-нибудь страшные русские были
Представят в музеях. Как школы и стили.

Расплещут великую кровь по картинам,
А критики звать её будут кармином.

И мы понимаем, что Иван Елагин – это поэт-визионер,
ему доступно как близкое, так и далёкое наше будущее.

Часть 2-я. ЗВЁЗДЫ ИВАНА ЕЛАГИНА

Иван Елагин проводит в своей (так и подмывает сказать: военной) лирике мысль о единстве жертв и их семей. Безвинно убиенных – и лучшей части русского народа, которая им сочувствует, а порой – и спасает. И, конечно, чаще всего он делает это сквозь образ своего отца, поэта Венедикта Марта. Стихотворение «Звёзды», как мне кажется, не только в книге «Курган», но и в лирике Ивана Елагина вообще занимает особое место. Чтобы длинное стихотворение не развалилось на отдельные куски, нужна особая энергетика, «цемент» духа. Звёзды – самое яркое юношеское впечатление поэта, связанное с родным отцом. И, когда отца не стало, что-то трагическое произошло и со звёздами. Не со звёздами вообще, а конкретно с теми звёздами, которые являлись поэту в юном возрасте.

В сущности, пьеса Елагина «Звёзды» – это плач по потерянному раю детства. Но, в отличие от романов Пруста, здесь романтическое переживание героя разрушается насильственным вторжением действительности. Причём для лирического героя не важно, кем растоптаны его мечты, его юношеское счастье – диктаторским режимом, войной или просто временем. Он это воспринимает как мистическую атаку враждебных сил на человеческую душу – на самое святое, самое сокровенное, что есть в человеке. Поэтому так тревожно, с неизбывной болью звучит у Елагина это стихотворение о звёздах. Сначала поэт говорит о своём отце словно бы отстраненно – «мне в ту ночь поэт седой и нищий небо распахнул над головой». Потом уже обращение адресовано напрямик к отцу, завязывается разговор с ним, ушедшим в неизвестность.

Лично у меня складывается впечатление, что Иван Елагин, когда писал это стихотворение, думал о «Стихах о неизвестном солдате» Осипа Мандельштама – и хотел написать, как минимум, не хуже, чем у старшего классика. И я думаю, ему это вполне удалось. Стихотворение производит очень яркое впечатление. Для Елагина отец равен «неизвестному солдату». Обрывки воспоминаний чередуются у поэта с величественной космогонией, то разрушительной, то, наоборот, созидательной. Вот, например, как поэт описывает свою юношескую «прививку духа»:

Колыхались звёздные кочевья.
Мы не засыпали у костра.
Шумные тяжёлые деревья
Говорили с нами до утра.
Мне в ту ночь поэт седой и нищий
Небо распахнул над головой,
Точно сразу кто-то выбил днище
Топором из бочки вековой!
И в дыру обваливался космос,
Грузно опускался млечный мост,
Насмерть перепуганные сосны
Заблудились в сутолоке звёзд.

«Вот они! Запомни их навеки!
То Господь бросает якоря!
Слушай, как рыдающие реки
Падают в зеленые моря!
Чтоб земные горести, как выпи,
Не кричали над твоей душой,

Эту вечность льющуюся выпей
Из ковша Медведицы Большой!
Как бы ты ни маялся и где бы
Ни был – ты у Бога на пиру...»
Ангелы завидовали с неба
Нашему косматому костру.

То ли отец говорит с юным поэтом, то ли некий голос свыше. Высокая непонятность поэзии Елагина очаровывает слушателей. Получается «двойное» слушание, со стереоэффектом: герой слушает отца, читатель слушает исповедь героя.

Открываю страничку Википедии, желая поближе познакомиться с отцом поэта, Венедиктом Мартом. На страничке Википедии – почему-то ни одного доброго слова об отце. Пил, буянил, дружил с Есениным, переводил китайскую поэзию…. Но как же тепло говорит о своем отце Иван Елагин! В стихотворении «Звёзды» прекрасно показано лирическое единство отца и сына, а над ними словно бы витает святой дух – поэзия. Образ отца возникает и в других стихотворениях Елагина – таких, как «Товарная станция», «Передача». Сын предан своему отцу и в радости, и в несчастье, он пронёс эту любовь к отцу, растерзанному сталинистами, через всю свою долгую жизнь. В сущности, в стихотворении «Звёзды» Иван Елагин рассказывает все ту же историю: как забрали отца, как он это переживал. Он восстанавливает в памяти по крупицам все мельчайшие подробности, и у меня складывается впечатление, что это вовсе не ретроспекция и не реконструкция – просто Елагин этого никогда не забывал и никому ничего не простил.

Рукописи, брошенные на пол.
Каждый листик – сердца черепок.
Письмена тибетские заляпал
Часового каменный сапог.
Как попало комнату забили,
Вышли. Ночь была уже седа.
В старом грузовом автомобиле
Увезли куда-то навсегда.

Ждем ещё, но всё нервнее курим,
Реже спим и радуемся злей.
Это город тополей и тюрем,
Это город слез и тополей.
Ночь. За папиросой папироса,

Пепельница дыбится, как еж.
Может быть, с последнего допроса
Под стеной последнею встаёшь?
Или спишь, а поезд топчет вёрсты
И тебя уносит в темноту...
Помнишь звезды? Мне уже и к звёздам
Голову поднять невмоготу.

Стихотворение настолько западает в душу своей энергетикой, что не сразу понимаешь, как автору удаётся достичь такого глубокого впечатления.

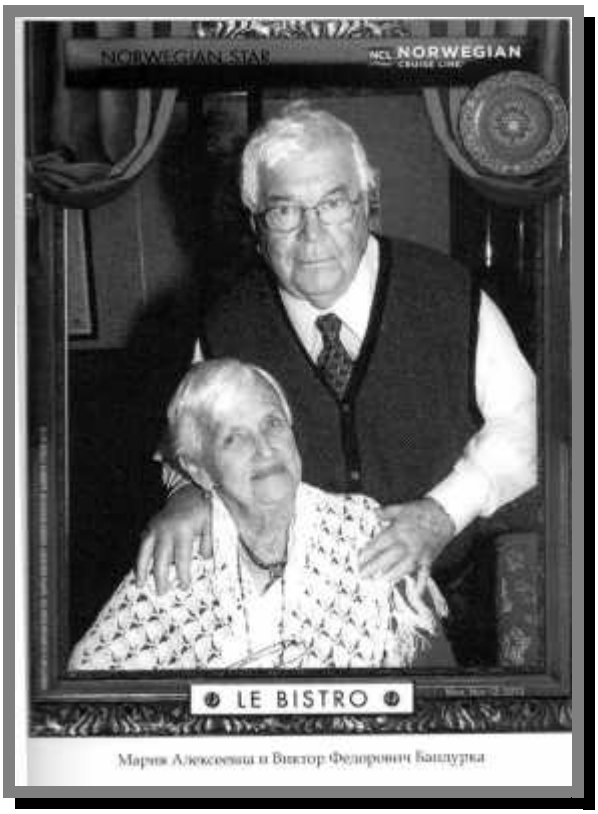
Бытовые зарисовки продолжаются у Елагина символистическими вкраплениями, вроде этого: «истаскало время наизнанку вечности принадлежащий плащ». Есть в этом произведении и элементы творчества других великих русских поэтов. «Хлынь, война!» – это поздний Мандельштам. А «Мы живём, зажатые…» – это уже Маяковский, «Товарищу Нетте». В результате получается какая-то невероятная оркестровка. И ведь не скажешь, что это полистилистика – всё стихотворение производит очень цельное, устойчивое впечатление! Это именно Елагин, а не кто-нибудь другой! Я не раз обращал внимание, что наиболее авангардными получаются те стихотворения, которые не претендуют на новое течение в литературе и авангардом себя не называют. Непривычное художественное мышление и даёт новые всходы на ниве поэзии. «Звёзды», если можно так выразиться, «курганом» возвышаются над другими стихотворениями Ивана Елагина, вошедшими в этот сборник. Поэт по своим художническим принципам напоминает мне великого актёра Олега Даля, который обнаруживал вулканический темперамент далеко не в каждой своей роли. Иногда он умел спрятать его так, что никто не мог догадаться об этом. Вот и Иван Елагин всюду следует за художественной задачей конкретного стихотворения. Исповедальность присутствует везде, а вот мощная энергетика – выборочно, там, где это необходимо по замыслу. И язык поэта столь же разнообразен. Но в стихотворении «Звёзды» происходит парад планет в душе поэта, здесь все маленькие ручейки стекаются в один мощный речевой поток. Елагин сумел объединить здесь всё, что зрело и накапливалось в его душе годами. В то же время, здесь присутствует некая матрица – то, что и сделало его большим поэтом. Детские тайны, постепенно ставшие человеческой сущностью зрелого поэта:

Ну, а звёзды. Наши звёзды помнишь?
Нас от звёзд загнали в погреба.

Нас судьба ударила наотмашь,
Нас с тобою сбила с ног судьба!
Наше небо стало небом чёрным,
Наше небо разорвал снаряд.
Наши звёзды выдернуты с корнем,
Наши звёзды больше не горят.
В наше небо били из орудий,
Наше небо гаснет, покорясь,

В наше небо выплеснули люди
Мира металлическую грязь!
Нас со всех сторон обдало дымом,
Дымом погибающих планет.
И глаза мы к небу не подымем,
Потому что знаем: неба нет.

Перед нами проходит, спрессованная в мгновение, вся жизнь поэта. Здесь сходятся два полюса – любовь (в данном случае к отцу и к потерянному раю детства) и почти что ненависть – к миру с его «металлической грязью», растоптавшему всё святое в душе героя. Зло не персонифицировано, и это очень мудро – это и люди, творившие неправедные репрессии, и война, всё, что разрушает и разъединяет людей. «Имя им легион», как говорится в Писании. Трагедийное звучание «Звёзд» достигает у Ивана Елагина такого эпического размаха, что заставляет вспомнить Расина, Софокла и Еврипида, хотя они и творили в другом жанре. Мистический символизм судьбы. Так бывает – никто в самом стихотворении не гибнет, а – трагедия. Гибнут звёзды. Это как раз тот самый случай, когда гибель природы страшнее гибели человека, потому что природа – это душа человека. А что такое человек, живой, но лишённый души? «Тяжёлые звёзды» – так назвал Иван Елагин свой итоговый сборник стихов. Звёзды, «вырванные с корнем», оказались слишком тяжелыми для человека.



Мария Алексеевна и Виктор Федорович Бандурко
(из семейного архива В. Бандурко)

Виктор БАНДУРКО
Нью-Йорк, США

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СУДЬБЫ
РАССКАЗ СТАРОГО КАДЕТА

Отец мой, Федор Иванович Бандурко был кубанским казаком. Родился он 15 марта (2 марта по старому стилю) 1895 года в день Святого Федора. Учился он в начальной школе в Сочи, затем поступил в гимназию в Армавире, которую окончил с золотой медалью. Если вы окончили школу с золотой медалью в царской России, могли поступить без конкурса в любое высшее учебное заведение. Мой отец поступил в Военно-Медицинскую Академию в Питере. Стипендия его в то время была 16 рублей в месяц. Академию ему окончить не удалось, так как началась революция.

В конце 17 года произошел с отцом такой случай. Он шел по Литейному проспекту в военной форме с погонами, навстречу шли курсанты. Он мог погибнуть, но один старый матрос, увидев всю эту картину, спрятал отца за своей спиной и, таким образом, спас ему жизнь. После февральской революции отец слушал в Думе Керенского, который мог говорить 17 часов подряд. При этом он падал в обморок, его откачивали, и он продолжал говорить.

В конце 1918 года уехал он на юг примкнуть к Белой армии. Когда он приехал на Финляндский вокзал, там уже выступал Ленин. После выступления Ленин подошел к нему и расспросил его, кто он и что здесь делает, а потом поинтересовался, если он украинец. «Нет, русский», – ответил отец.

Он рассказывал, что чем дальше продвигался он на юг, тем страшнее были зверства большевиков. Наконец, отец примкнул к Белым. Так служил он в Белой армии до ее развала. В это время он очутился в Грузии, в г. Поте, где планировал сесть на американский пароход, отплывающий в Нью-Йорк. Но в Нью-Йорк он не уехал, а уехал в Крым. Из Крыма он перебрался в Словению. В течение 4-5 лет жил в лагере, в надежде вернуться в освобожденную Россию. Вскоре друзья собрали ему деньги, и он уехал в Загреб продолжать медицинское образование. Окончил он обучение в 1924-25 годах и продолжил свое обучение в Белграде, где и познакомился с большим русофилом, сербом по фамилии Бата Мичич. Он был в то время директором Красного Креста. В его доме отец мой встретил свою будущую жену – сестру Бата Мичича. Была она учительницей. Через полгода папа женился.

Отец получил государственную работу недалеко от Белграда, в небольшом селе под названием Бавaниште, где он работал сельским врачом.

Я родился 21 января 1931 года в этом селе, где я и рос со своей сестрой Верой. До 6 лет я не говорил по-русски, а только на крестьянско-сербском языке. Недалеко от нашего села был небольшой город Панчево. Там располагалась большая русская колония, больница и начальная школа. Отец отправил меня и сестру жить в русскую семью. Учительницей нашей была Александра Аркадьевна Боголюбова – женщина очень образованная. Образование она получила в Смольном, свободно говорила на немецком, английском и французском языках. Отец велел мне учить немецкий. В этой школе я проучился 4 года. Домой приезжал только на летние каникулы. К этому времени сербский язык я уже начал забывать. Как сейчас помню 37-38 годы, мадам Садовская, хозяйка дома, где я жил, любила петь русские романсы под собственный аккомпанемент, особенно любила она романс «Отцвели уж давно хризантемы в саду».

В апреле 1941 года слышу я на улице шум – выхожу – вижу – толпа студентов, кричат: «Лучше война, чем пакт, лучше гроб, чем рабство». Дело в том, что за полгода до этого Принц Павел подписал пакт с Гитлером пропустить через страну вагоны с ранеными немцами из Греции в Германию. Авиация под руководством генерала Симовича устроила путч. Павла и его правительство арестовали и поставили королем Петра II. Это было очень важно исторически, так как в апреле этого года Гитлер планировал напасть на Россию. Через неделю после путча случилась такая история. На ступеньки Думы вышел немецкий посол, и студент плюнул ему в лицо. Это был мировой скандал.

Гитлер объявляет войну Сербии и посылает две военных дивизии для ее разгрома. Через деревню, где мы жили, проезжает сербский полк. В нашем доме скрывались семь сербских офицеров. Отец просил их не выходить из дому, но они его не послушались, и сосед-немец их всех выдал. В это время в деревню уже вошли немцы. Первые немецкие дивизии не были такими жестокими. Немцы сразу заняли в нашем доме две комнаты.

Через неделю вошли СС. В один прекрасный день перед нашим домом останавливается два грузовика, и немцы делают обыск. Отца снова выдал немец-сосед, сообщив, что доктор скрывал сербов. У отца нашли охотничье оружие. Но немецкий солдат, живший в нашем доме, отца от ареста спас.

Да, забыл сказать, что в 1941 году отец отвез меня в Белую Церковь, где я проучился три года во 2-ом русском кадетском корпусе.

Когда я учился в кадетском корпусе за моей партой сидел правнук Льва Толстого – Илья Толстой, а сзади – внук Римского-Корсакова. Вел он себя плохо, и по поведению у него была единица. А старший брат его Олег всегда говорил о России. Там же учился и сын генерала Кутепова. Помню, как в 1943 году подъезжает к училищу Гестапо, и забирают 2-х кадетов – сына генерала Кутепова и сына кубанского генерала Фостикова. Что же было? Оказывается, НКВД в гнезде белогвардейцев основало коммунистическую ячейку, во главе которой был сын Кутепова. В какой-то момент и я хотел записаться, но меня не взяли. Их хотели повесить, повезли в Вену, но спас их русский агент.

В начале июня немецкие солдаты временно уходят на маневры и Тео, один из солдат, мне говорит: «У нас будет война с Россией». Было это 10 июня. За моей тетей ухаживал один немецкий сержант по фамилии Альберт, и когда началась война, от твердо сказал: «Германия проиграет».

Что тоже очень важно, объявление войны с Россией отодвинулось с апреля на июнь. В Сербии начали формироваться партизанские отряды. Один из таких отрядов спас 500 американских летчиков. Руководил партизанским отрядом в Сербии Драже Михайлович. Последний основал отряды четников. Другой группой руководил Льотич, в нее входила в основном сербская интеллигенция, которая была близка по духу к русской интеллигенции, обосновавшейся в Сербии. Но Драже Михайлович сделал тактическую ошибку – он в какой-то момент заключил пакт с немцами. Несколько позже появились партизанские отряды, во главе которых встали коммунисты, особенно в старой Сербии, в городе Ужицы.

Партизанское движение было основано благодаря сыну Черчилля. В 1936 году Рандольф Черчилль и Тито (наст имя Иосип Броз) были вместе в Испании во время Гражданской войны и служили в знаменитой бригаде Линкольна. Там же служил и Хаменгуэй. Об этом писал в своих воспоминаниях Андрей Седых.

Эти партизаны-коммунисты начали охотиться и убивать русских эмигрантов. Тогда в Белграде жил генерал Скородумов. Он просил немцев дать эмигрантам оружие, чтобы бороться против партизан. Это движение называлось «Шутцкор» (Schutzkor). У них тогда были еще старые формы. В течение месяца организовался первый полк из казаков. Начальником этого полка был генерал Зборовский. До Первой Мировой Войны он служил в конвое и был любимым партнером Николая II по игре в теннис. Когда началась война с Россией, немцы обещали перебросить всех этих воинов на Восточный фронт сражаться против большевиков. Генерал Скородумов выразил немцам

свое возмущение и его арестовали. Начальником корпуса назначили крещеного еврея по фамилии Штейфон. Армия разрослась из одного полка до пяти. Там было много советских военнопленных и много из Буковины.

Отец оказался в русском корпусе – на них надели немецкую форму, и уйти было уже невозможно. 15 сентября 1944 года папа приезжает из Белграда в деревню и сообщает нам, что нужно немедленно уезжать, так как Красная армия должна была вот-вот занять нашу деревню. Мы собрали только то, что могли взять и умолили папиного бывшего больного, чтобы он отвез нас на телеге в Панчево, где был сбор. Отец уехать с нами не мог. Не успели мы уехать, как соседи наши полностью разграбили все наше имущество, и только тете удалось спасти маленькую китайскую чашечку, которую я до сих пор бережно храню.

17 сентября немцы посадили нас в вагоны, всего 3-4 тысячи человек, и мы двинулись в Австрию. Но, не доезжая до австрийской границы, началась бомбардировка английской авиацией. К счастью, перед нами был туннель, и мы успели там спрятаться. На другой стороне была Австрия. Вагон двинулся назад. Нас пересадили в товарный поезд, направляющийся в Вену.

19 сентября 1944 года мы приехали в Вену, но не успели мы прибыть, как американцы разбомбили наш поезд. Опять пришлось нам спасаться в укрытиях. Прошли мы тогда 7 километров пешком – была слякоть, снег. Было мне всего 13 лет. Мама спрашивает по-сербски охранявшего нас немца: «Куда нас ведут?». А он отвечает маме: «Вы не волнуйтесь, все будет хорошо». Был я в то время непоседливый и нетерпеливый, все забегал вперед, и первым увидел вывеску на немецком языке: «Лагерь. Работа сделает нас свободными». Это был известный теперь концлагерь «Маутхаузен».

Вошли мы в этот лагерь, и нас сразу же раздели догола, всех вместе, женщин, детей, старых и молодых и отправили в душевую. Позже я узнал, что один клапан там был для душа, а другой – для газа. Нашу одежду продезинфицировали и отдали нам ее обратно.

Я вышел во двор и первое, что я увидел – это человека, подвешенного за руки, а сверху ему на голову льется вода. Эту страшную картину я никогда не забуду. Вскоре отправили нас в палаты, по 50 человек в каждой, дали по одеялу и солому, на которой мы спали. Я тогда везде бегал. Подхожу к проволочному заграждению и вижу какие-то странные люди. Я спрашиваю: «Откуда вы?», а он отвечает: «С Варшавского гетто», и на хорошем немецком языке спрашивает: «Хлеб есть?». Хотел променять свои сапоги на буханку хлеба.

В концлагере было две категории людей. Одна – те, которые но-

сили полосатые одежды и у них на руке были выжжены номера. Другие – те, которые носили свою одежду, но у них посередине головы были полосой выстрижены волосы, и красной краской на одежде был нарисован номер. Я видел, как немцы издевались над людьми, особенно над евреями и цыганами. Их заставляли носить тяжелые камни.

Однажды ко мне подошел еврейский мальчик лет 15 и говорит: «Хочешь выйти из лагеря чинить железнодорожные трассы?» (а нам тогда давали в день одну тарелку горохового супа, и мы очень голодали). Я пошел с ним. Мы день отработали, а в конце работы он вдруг упал. Я подошел к охраннику, спрашиваю, как помочь ему. Охранник попался хороший, говорит: «Если найдешь тачанку, отвези его». Я тачанку нашел, поднял его, он очнулся. В течение двух месяцев, что я был в лагере, мы его как могли, подкармливали. Потом он исчез…. Наверное, погиб…

Через два с половиной месяца нас собрали немцы (около 3,000 человек) и вывезли из лагеря. Привезли нас в маленький немецкий город Хольштат, возле Зальцбурга. Маму отправили работать на завод, где делали ракеты. Так жили мы там до мая 1945 года пока не пришли американцы. Оттуда попали мы в американскую зону в Зальцбурге, где я начал ходить в русскую школу, в 4-ый класс. Окончил я эту школу в 1949 году. В сентябре все начали разъезжаться.

В это время русский корпус из Югославии уехал в Австрию, в английскую зону, где и был расформирован. В июле или августе того же года отец нашел нас в Зальцбурге, в лагере для перемещенных лиц. Отец устроился в этом лагере работать врачом. Был это русский лагерь, а были еще и польские лагеря, и еврейские, и другие. В Америку из Германии нас не выпустили, так как отец переболел туберкулезом, а у меня не было трех зубов, которые мне выбил немецкий солдат, когда я пытался спасти тонущего в туалете старого еврея. Не пустили нас ни в Бразилию, ни в Канаду. Наконец, отец получил контракт на работу в Эфиопии. Из Марселя мы плыли на пароходе через Порт-Саид и, наконец, прибыли в столицу Эфиопии, Аддис-Абебу. В этой столице прожили мы только два месяца, жили мы в русской части города, где старые русские эмигранты сдавали квартиры. Многие из них жили здесь еще с 1912 года. Прислуживали нам местные жители, которые научились говорить по-русски и готовить русскую еду.

Граф Иван Сергеевич Хвостов хотел создать там русскую коммуну. Сам он выучился на адвоката. Дядя его еще при Керенском был министром. Был он еще и поэтом, к тому же еще перевел с француз-

ского Гражданский кодекс Наполеона на абиссинский язык. Он свободно владел четырьмя иностранными языками. Женой его была графиня Наталья Владимировна Татищева. Благодаря его хлопотам мы и попали в Эфиопию. Однако папу отправили работать на юг Эфиопии, 150 километров от столицы. Подъезжаем – а вместо дома стоит маленькая соломенная хибарка. Попали мы на золотые прииски, где работали преступники. Сначала мы плакали, было трудно, хотя и работало на нас 4-5 человек прислуги из местных.

Сестра Вера осталась в Аддис-Абебе и иногда приезжала к нам охотиться на леопардов. Я учился говорить по-итальянски, русских вокруг никого не было. Горными инженерами работали американцы, и условия у них были лучше, чем у нас. Американцы стали нас с сестрой уговаривать ехать в Америку. Один из них, господин Кеммер, обещал быть моим спонсором. Сначала я не хотел ехать, так как меня приняли в Хайдельбергский университет на медицинский факультет, но после многих уговоров я все-таки согласился. В январе 1952 года мы с сестрой переехали в Нью-Йорк.

Через две недели после приезда я поступил в колледж Святого Франциска в Бруклине, потом в Фордхамский университет (Jesuit Fordham University in Bronx,NY), где получил степень магистра химии. В 1972 году я получил докторскую степень. После получения докторской степени был приглашен на работу известной фармацевтической фирмой «Johnson and Johnson», где и проработал до марта 2003 года. У меня 16 патентов по химии и 12 научных работ. Работы были в различных областях медицины, получал я и престижные награды за свои научные открытия.

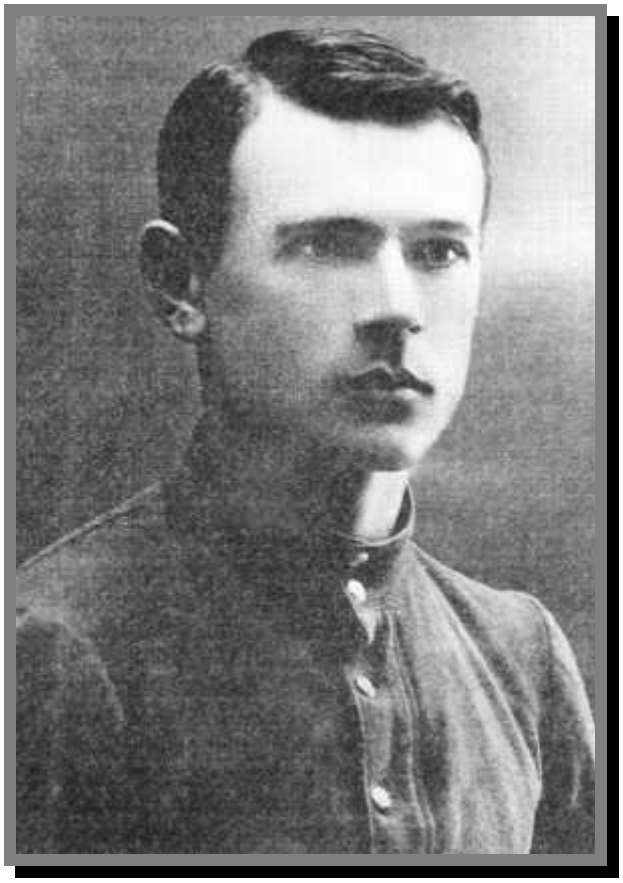
Несмотря на большую занятость в науке, я всегда интересовался литературой и музыкой. Пел в хоре. Приглашал в Америку хоровые группы из Москвы. Устроил 250 концертов в США и Канаде. Способствовал приезду хора из Волгограда и Бреста. Посещал лекции Елагина, Берберовой и других. Свои первые десять лет пребывания в США принимал участие в русском казачестве, а последние пять лет участвую в кадетском движении в Америке и России. Российские кадеты приглашают меня теперь на их съезды. Посетил Питер, Москву, Екатеринбург, Хабаровск и Владивосток.

Случилось так, что в американской армии за неимением православных священников приобщился к еврейской религии и каждую пятницу посещал военную синагогу.

По окончании университета Ешивы, по просьбе декана помогал вновь прибывшим евреям из бывшего Советского Союза, что и продолжаю делать сейчас. Живем мы с женой недалеко от Нью-Йорка. У нас трое детей и шестеро внуков. Так сложилась моя судьба.

Племянница Ф. Бандурки – Лима, сын – Виктор,
жена – Десанка Милошевна, дочь – Вера, Федор Бандурка.

(фотография из семейного архива В. Бандурко)



Федор Бандурко, отец Виктора. 1918 год.
Студент Императорской Военно-медицинской Академии
(из семейного архива В. Бандурко)

XXIX выпускъ.

XXIX выпускъ, 1-е отдѣленіе II класса снято въ мартѣ 1943 года. Въ первомъ ряду слѣва направо сидятъ: И. Щуплякъ, В. Бандурка, Г. Быковецъ, пом. восп. Петръ Карасикъ XXVI вып., полк. Я.Н. Рѣщиковъ, кап. П.И. Лавровъ, К. Нелюдовъ, Гл. Фоминъ.

XXIX выпускъ, 2-е отдѣленіе II класса снято зимой 1943 года. Въ первомъ ряду сидятъ слѣва направо: А. Ралли, В. Кумашевъ, кап. Михаилъ Харитоновъ, А. Масловъ, Вл. Мордвиновъ. Во второмъ ряду крайній справа Е. Баевъ, а третій слѣва П. Жарковъ, полголѣтній секретарь Кадетского Объединенія въ Нью-Іоркѣ.

(из семейного архива В. Бандурко)

Эфиопия, Аддис-Абеба, Федор Бандурка с женой и дочерью.

Визит предводителя совета Старейшин казаков Америки, полковника В.Ф. Бандурки, Всеволожск, сентября 2009 года.

Визит предводителя Старейшин казаков Америки, полковника В. Ф. Бандурко. Всеволожск, 2009 год (из семейного архива В. Бандурко)

Игорь Тюльпанов. Портрет Дмитрия Бобышева

Дмитрий Бобышев
Урбана-Шампэйн, США

ТЕКСТ О «ЧЕЛОВЕКОТЕКСТЕ»

Моя трилогия «Человекотекст» – это не мемуары в традиционном понимании, это скорей художественная проза, автобиографический роман, основанный на реальной жизни и подкреплённый фактами и документами. Художественным является сам метод воспроизведения былого, – таким, как оно воспринималось тогда, когда происходило, – то есть с тогдашними запахами, вкусом, неожиданностью, с тогдашними обидами и ошибками. Но и с теперешним знанием и оценкой.

Это – очень действенный метод, когда-то применённый Марселем Прустом в его эпопее «В поисках утраченного времени». Помните? Повествователь окунает в чай подсохшее бисквитное печенье «мадлен», и этот вкус и запах вдруг переносит его в далёкое детство, во время чаепития у бабушки, то есть делает само прошлое ощутимым, как если бы оно происходило сейчас.

Подобный пустяк случился и со мной. У нас в семейном альбоме есть довоенная фотография: голый малыш идёт по кромке пляжа с сачком в руках. Мариуполь, Азовское море. Тем мальчиком когда-то был я. Зачем же у меня сачок? Ведь бабочки у моря не водятся. И тут я вспомнил: сачком я вылавливал из воды жуков-плавунцов. Вдруг один из них пребольно укусил меня за палец, потом приподнял блестящие надкрылья, выпростал прозрачные крылышки, да и улетел прочь. Боль, слёзы, обида.... И – хлынувшие потоком воспоминания. И, как результат, – книга под названьем «Я здесь», далее превратившаяся в начало трилогии «Человекотекст».

Это составное слово появилось в моих писаниях давно, в конце 70-х, когда я готовил для Тамиздата первую книгу стихов. Рукопись я предварил сонетом (на счастье), из которого процитирую два катрена:

Строка – совсем дитя. А кто отец-то?
Ведь я расчеловечусь, я впоюсь
в смертельное братанье с ней, в союз,
и стану вовсе человекотекстом.

С полусобою сросток, лёгкий груз,
пока меня имеючи, приймите!
Так из каких же уст я отзовусь,
когда Создатель позовёт: «Димитрий»?

Здесь надо пояснить глагол «расчеловечиться». Обычно его понимают односторонне, как переход человека в более низкое, животное состояние. Но ведь возможен и переход в противоположное, более высокое состояние – в текст.

Когда я стал переводить былую жизнь в буквы, слова, страницы, мне стали вспоминаться такие детали и факты, которые я, казалось, не мог помнить, да и не вспоминал ни разу. Но они вспоминались, и я их не придумывал, я возрождал их в письменном виде с наибольшей правдивостью.

К разговору о правдивости следует вспомнить о замечательной книге Георгия Иванова «Петербургские зимы», которую часто упрекали в отсутствии этого столь необходимого для мемуаров свойства. Причём, критиковали такие авторитетные современницы Иванова, как Ахматова и Н. Я. Мандельштам. Я слышал эту критику непосредственно от каждой из них. Я тогда ещё не читал этой книги, но много о ней слышал, и потому попросил у Ахматовой привести пример какой-нибудь недостоверности. Она сказала:

– Ну, например, он пишет, что мы с Колей и с ним на двух пролётках ездили в Царское к графу Комаровскому. Ложь! Не было такой поездки. Далее он пишет, что Комаровский, встречая нас у дверей, крикнул лакею: «Жирандоли, несите жирандоли!» Какие жирандоли? Можно подумать, что он жил во дворце с зимним садом... Комаровский жил в келье! Этого мало? Вот ещё пример: он утверждает, что Блок, якобы, вдохновлялся вином, и даже описывает шкаф, где оно держалось. Я думаю, у Блока были иные источники вдохновения.

Надежда Яковлевна тоже отозвалась довольно категорично сразу о двух Георгиях – Иванове и Адамовиче:

– Жоржики остаются жоржиками даже тогда, когда начинают писать немного лучше.

Эти суровые отзывы не помешали мне насладиться великолепной прозой Георгия Иванова, когда я, наконец, достал эту книгу. По моим впечатлениям, атмосферу послереволюционного Петрограда он воссоздал убедительно, хотя и пользовался порой образами, которые сейчас кажутся недостоверными. Но тогда фантастикой была сама реальность. Память избирательна, той поездки могло и не быть, вместо неё могла быть другая. Жирандолей у Комаровского не было, но слово это могло прозвучать. А некоторые другие сомнительные детали позднее нашли подтверждение в дневнике у Блока.

Я думаю, дело было в другом: в иерархии, которую нарушил Георгий Иванов в глазах Ахматовой и Мандельштам. Портретам старших современников он придал много «человеческого, слишком человеческого», и это воспринималось как шокирующий контраст к их дальнейшим судьбам. Но всё же, его доверительно принимал у себя Блок, а Мандельштам посвятил ему одно из лучших, на редкость мажорное стихотворение – «Поедем в Царское село!»

Я не боюсь признаться, что ивановские «Зимы» для меня ещё один образец мемуарной прозы. Да, для читателей-скептиков я постарался оснастить мой «Человекотекст» документами и свидетельствами других людей, но при этом воспользовался некоторыми художественными приёмами.

Например, я заимствовал у Анатолия Наймана одного персонажа – наполовину условного, наполовину реального. Это – Германцев из «Поэзии и неправды» – прозы, сходной по жанру с теми же «Петербургскими зимами». У Наймана Германцев составлен из нескольких реальных прототипов и, поскольку наши повествования в некоторых точках сходятся, я «увёл» его к себе. Да Найман и не возражал, поскольку мои прототипы почти совпадали с его, и в некоторых щекотливых ситуациях я их прикрывал этим вымышленным именем.

Первая книга «Человекотекста» писалась легко и с удовольствием. Перевод жизни в текст оказался очень увлекательной игрой. В памяти открылись неведомые пазухи, где обнаружились залежи забытых сцен, разговоров, красок... Во всём этом появилась структура, повествовательное движение и в какой-то момент чувство законченности. Оставалось найти издателя.

Здесь неоценимую дружескую помощь оказал Найман. И человек, и текст ему понравились. Правда, название ему показалось громоздким, но мы оставили его как обозначение жанра: не мемуары, не воспоминания, а именно *человекотекст*. А название книги придумали совместно: «Я здесь». У него оказалось много значений.

Во-первых, моя географическая удалённость не значит, что меня нет в литературной ситуации. Я – человек с пером, я здесь, и с этим надо считаться. Во-вторых, я свидетель и участник давних событий, у меня есть собственный взгляд на вещи, и солгать о себе и других я не дам.

Журнал «Октябрь» напечатал эту книгу в нескольких номерах. Правда, вылетело мариупольское детство, бегство от войны в Закавказье, ленинградская послевоенная школа, первые литературные опыты и ещё многое. Зато начало было динамично: Техноложка, ранний Рейн, молодой Найман, поэзия, юный Бродский. Наши дебю-

ты, дружба, влюблённости. Встречи с Ахматовой. Противостояние с идеологией и конфликт с Бродским. Похороны Ахматовой.

Эта публикация многим показалась спорной, но я предполагаю, что она хорошо подняла тираж журнала. Во всяком случае, издательство «Вагриус» заинтересовалось человекотекстом и вскоре выпустило книгу «Я здесь» уже в полном виде.

В газетах появились довольно темпераментные отзывы о ней. Но критики совершенно обошли вниманием б*о*льшую часть книги, их заинтересовали «жареные факты», которые касались Бродского. Всплыла старая сплетня о моём соперничестве с Иосифом, несмотря на то, что я как раз хотел нейтрализовать эту сплетню, рассказав со своей стороны, каковы были обстоятельства и как они складывались на самом деле. Не тут-то было! Меня сравнивали с Сальери, отравившем Моцарта из зависти. Хотя, кстати сказать, Пушкин, увы, воспользовался недостоверной версией этой истории. Более того, меня называли Дантесом, застрелившим самого Пушкина!

Интересно заметить, что простые, непрофессиональные читатели хвалили книгу, им нравился слог, и читать было интересно.

Но вся эта шумиха помогла выйти в свет второй книге человекотекста – московское издательство «Время» заключило со мной договор на неё, а заодно и на книгу стихов.

Название «Автопортрет в лицах» хорошо подошло к книге. Там описывались 70-е годы, это была эпоха брежневского застоя. Находясь по-прежнему в глухом неофициозе, я всё ещё стремился к признанию, но, ни за что не хотел поступиться внутренней свободой. Были искушения, которые я отверг. Были малые и редкие публикации в периодике, книги стихов мурыжились в издательствах, а затем отвергались. Я и не знал, что мои стихи к тому времени оказались напечатаны в западногерманских «Гранях», и моё имя попало в чёрный список.

В подобном тупиковом положении находились многие знакомые литераторы и художники. Но в ответ на зажим расцвело самиздатское движение, устраивались подпольные чтения и выставки, как, например, эпатажная фотовыставка у Константина Кузьминского. В моей коммуналке на Петроградской стороне тоже прошла однодневная выставка живописи Тюльпанова с наплывом посетителей. Я закрыл её, прежде чем соседи вызвали милицию. Борис Иванов стал выпускать машинописный альманах «Часы», Виктор Кривули – журнал «37», несмотря на угрозы и препоны властей.

В книге описаны встречи с такими людьми, которых теперь называют «маргиналами», но которые были гораздо ярче и талантливее

так называемого «мэйнстрима». Это – Игорь Тюльпанов, великий искусник и иллюзионист в живописи. Или Михаил Шварцман, духовидец, иконописец и при этом авангардист. Или ссыльный поэт Сергей Владимирович Петров, переведший на русский язык весь «Часослов» Рильке. Или заштатный священник отец Сергий Желудк***о***в, мечтавший о Православии доброй воли.

Многие из друзей, отчаявшись в душной атмосфере, эмигрировали на Запад.

Уехала Наталья Горбаневская с сыновьями, уехал Яков Виньковецкий с семьёй. Для меня это была большая утрата, но я решил держаться, оставаясь дома. При этом я начал печататься за рубежом, в парижском журнале «Континент», а вскоре переправил туда большую рукопись книги стихов. И стал ждать.

Тут Провидение послало мне очень определённый намёк в виде молодой женщины, которая меня очаровала. Это была американка русского происхождения из семьи Первой волны эмиграции, осевшей сначала в Югославии, а затем перебравшейся в Штаты. Целый год мы проверяли чувства друг друга, роман продолжался в письмах и телефонных звонках, а потом она приехала ещё раз, и мы поженились.

К тому времени вышла в Париже моя первая книга стихов «Зияния», и я решил больше не испытывать судьбу. Эта часть повествования кончается моим прыжком в неизвестность по воздушному пути «Москва — Нью-Йорк».

«Автопортрет в лицах» вышел, как я уже сказал, в издательстве «Время» в Москве. Но вышел как-то странно. В качестве гонорара я получил всего 1 (один) экземпляр. И это притом, что книга была объявлена к продаже во многих магазинах, а вскоре стала доступна для скачивания в Интернете.

В отличие от Первой книги, Вторую встретило полное молчание критиков. Я помню только одну заметку Ольги Кучкиной, напечатанную в “*Ex Libris*’е”, заметку умную, проницательную и сочувственную.

Совсем иначе получилось с Третьей книгой, получившей окончательное название «Я в нетях» – симметричное Первой («Я здесь»). Она вышла в нескольких изданиях, – правда, периодических. Некоторые главы появились в нью-йоркском «Новом Журнале», другие – в калифорнийском альманахе «Связь времён». Но полностью из номера в номер публиковал эту книгу московский журнал «Юность», тот самый, где когда-то напечатали моё первое стихотворение. На полную публикацию потребовалось более двух лет. А затем ею заинтересовался довольно-таки элитарный интернетовский «Семь ис-

кусств». Там было много отзывов, – всяких, но преимущественно хороших.

Многим было интересно читать об опыте моей американской жизни – от первых эйфорических впечатлений от Нью-Йорка до вхождения в жизнь среднезападной глубинки, об опыте выживания русского литератора на узких площадках эмигрантской печати. О встречах с представителями трёх волн эмиграции: послереволюционной, послевоенной и третьей (псевдо-израильской).

О сотрудничестве с замечательным художником Михаилом Шемякиным и о совместной книге «Звери св. Антония».

О вхождении в академический мир университетских кампусов. И о крахе моей американской семьи после двенадцати совместных лет. О поездке в критические времена на родину в эпоху Перестройки. И, наконец, о возвращении в Америку, домой, как говорится, «с новыми песнями», надеждами и новой семьёй.

Итак, весь «Человекотекст» оказался так или иначе опубликован, хотя и в разных местах. Но мне хотелось бы иметь его объединённым под одной обложкой или в виде трёхтомника.

У тут получилось то, что бывает у таких эксцентричных писателей, как Михаил Булгаков или Курт Воннегут: ко мне обратился издатель с предложением напечатать целиком эту трилогию! Это был славист из Калифорнии мистер Чарльз Шлакс, который единолично издает книги и журналы из одной лишь любви к русской литературе. Все это он делает своими трудами, не требуя за работу ни пенни. В результате трилогия «Человекотекст» вышла в свет!

Это дало мне чувство завершенности, исполненности, и я уже не собираюсь приниматься за новую большую работу. Правда, я мечтаю о том, что где-нибудь в России издадут корпус моих стихов на хорошей бумаге. Вот тогда мой литературный путь будет окончен.

12 апреля 2015 г. Champaign, Illinois.

Дмитрий БОБЫШЕВ
Урбана-Шампэйн, США

ГЛАВЫ ИЗ ТРИЛОГИИ «ЧЕЛОВЕКОТЕКСТ» (Книга 3)

ПАРИЖСКИЕ ОТКРЫТКИ

Когда мы прилетели в аэропорт Де Голль, совсем недавно ставший ещё одним событием мировой архитектуры, Славинский заметил:

– Добро пожаловать в социалистическую Францию!

Действительно, эскалаторы, столь смело пущенные через всё пространство огромного зала прибытия, не работали, и нам пришлось воздыматься по ним пешком. Это было 15 мая 1981 года, социалист Франсуа Миттеран только что стал президентом, и вот уже машинерия забарахлила первой!

Добраться до Горбаневской было по-парижски «просто», с одной лишь пересадкой, которую помог мне осуществить Славинский, умчавший дальше в сторону своего ночлега. А я вышел у Сен-Мишеля, прошёл вдоль решётки Люксембургского сада и свернул налево, на рю Гей-Люссак, напомнившую пропорциями ленинградскую улицу в районе Коломны. Отличием было лишь нежное серо-фиалковое освещение. Это был час, когда живописные и вонючие клошары обустраивали на ночлег самые неожиданные «тёплые местечки». До Натальиного дома я добрёл уже в густых сумерках и, войдя в парадную, оказался в полном мраке. Плечо (на американский лад) отягощалось чехлом для одежды, в руках была дорожная сума, так что я чувствовал себя неуклюжим на узкой лестнице. Пришлось снять поклажу, чтобы нашарить выключатель. Где-то на уровне второго этажа свет погас опять, и я на ощупь продолжал восхождение, пока наверху не щёлкнул замок, и Наталья сама пришла на выручку.

Мы не виделись с её отъезда. Она сменила прическу, посвежела, выглядела настоящей парижанкой. В её большой, но запущенной и заваленной книгами квартире, которую ей «дали» городские власти, она жила с двумя сыновьями. Младший Ося ещё был школьником и отсутствовал в какой-то каникулярной поездке, а уже возмужавший Ясик, очень похожий на польского киноактёра Даниэля Ольбрыхского, мечтал стать художником, так, что Наталье приходилось вкалывать за троих. Она и признавала себя воркоголиком, – помимо стихов и двух редакторств брала ещё какие-то переводы, а на шляния по Парижу её оправданно не хватало.

Общались мы, главным образом, по утрам. Ходили с умнейшей собачкой Тяпой в кафе. Наталья гоняла со звонами шарик в развлекательном биллиарде. Однажды отправились на ближайший рынок. Я, кажется, не такой уж обжора, но зрелищно очень люблю всякие снеди. Этот местный рынок показался мне восхитительным сценическим представлением, празднеством еды, которое было устроено на уютной полукруглой площадке, ограниченной сквером. Играла музыка, на одном колесе ездил жонглёр. Среди цветов золотисто пучились копчёные куры, на вертеле жарился поросёнок. Над прилавками висели окорока и колбасы. Обложенные льдом, дышали устрицы, в тазу плавал живой осьминог. Не хватало лишь танцующей Эсмеральды, но её козочка здесь вполне бы оказалась уместна.

Мы накупили зелени и закусок для завтраков. Наталья с толком выбирала сыры – одни со слезой на восковом срезе, другие в лубяных кузовках или на опрятных рогожках, – в разной степени своей аппетитной заплесневелости.

– Тут у каждого фермера свои рецепты сыров, как и свои вина, – сообщила Наталья.

Она гордилась Парижем, Францией, и было чем. Я её поддержал:

– Вот, казалось бы, – рынок, торжище…. А какое при этом изящество.

– И достоинство! – добавила она.

– И краски!

– И вкус!

Дальнейшее напоминает мне череду почтовых открыток: минимум текста, максимум изображения. На первой из них – Латинский квартал. Улочка, спускающаяся к бульвару Сен-Жермен. Я вхожу в книжный магазин издательства ИМКА-пресс, где вышла моя книжка, с, казалось бы, обоснованной надеждой получить причитающееся вознаграждение. И что ж – там разыгрывается сценка, чем-то напоминающая репинскую картину «Не ждали». Издатели сокрыты наверху, куда хода нет, в магазине лишь Рада Аллой, не выразившая никакого энтузиазма при виде автора «Зияний». Но сообщает обо мне наверх. Никита Струве не соблаговоляет («сегодня не будет»), а Володя Аллой спускается, чтобы сообщить следующее:

– Ваша книга – малотиражная и потому безгонорарная. Но авторам мы выдаём 6 экземпляров бесплатно и до 20-ти за половинную цену.

– Что ж, я возьму. А какой был тираж?

– Не помню.

– А сколько осталось?

– 60.

– Что ж они на полках-то не стоят?

– Места нету.

– Принесите все. Там есть довольно паршивые опечатки, я исправлю.

Дрогнул Аллой как-то странно, но книги принёс. И вот я в позе взыскательного автора сижу в углу, передо мной – стопки зелёных обложек. Час, другой... Опечатки, казалось бы, мелкие, но в одном месте – сокрушительные. Несколько страниц поэмы «Небесное в земном» перепутаны, и дело не в брошюровке, потому что нумерация сохранена последовательная. То есть текст, и без того фрагментарный, превращён в нечитаемый абсурд. А между тем, фрагменты и главы поэмы накрепко связаны сюжетом и должны складываться в любовный треугольник, за которым угадываются Бродский-Басманова-Бобышев! Так что же это – случайная ошибка? Очень уж в неслучайном месте. Горбаневская набирала книгу, а она на такое не пойдёт, это точно. А вот страницы (неужели бессознательно?) перепутывал и нумеровал, вероятно, Аллой, адепт моего антипода и его верный связной в том давнишнем реальном сюжете, больше некому.

Но расспрашивать бесполезно. И не надо на этом зацикливаться, а не то ум за разум заходит. Да и читатель не поверит (и будет неправ).

Когда я притащил из лавки полукупленные «Зияния», Наталья тут же отрядила меня на почту, чтобы немедленно послать книги домой, за океан.

– А завтра – что, будет поздно?

– Именно так. Завтра почта встанет на забастовку. Мы в «Русской Мысли» по этому поводу в панике.

– Почему?

– А вся наша подписка?! Впрочем, почтовики вряд ли обидят газетчиков…

И я пошёл выстаивать очередь в почтовом отделении там же, на рю Гей-Люссак.

В пределах открыточного формата, пожалуй, состояла наша встреча с Зинаидой Шаховской.

Поводом был «Русский Альманах», вышедший в начале года под её редакцией, совместно с Ренэ Герра и Евгением Терновским, в который я успел «вскочить», послав туда по подсказке Ю. П. Иваска несколько строф из «Русских терцин» (тогда они ещё назывались «Малыми»). Едва ли мой скромный вклад стоил толстого тома на веленевой бумаге, присланного мне авиапочтой через океан! Надо было отдать за это визит главному редактору, авторитет, который

вызвал и многие пожертвования на такое роскошное издание. Ещё бы: происхождение от Рюрика, участие в Резистансе, орден Почётного Легиона и прочая, и прочая. Но влияние её было уже на излёте; с символической передачей «Русской Мысли» Ирине Иловайской–Альберти, солженицынскому секретарю, Первая волна сдавала позиции. Её письмо с приглашением стоит здесь привести:

«13.06.80 Париж

Д. В. Бобышеву USA

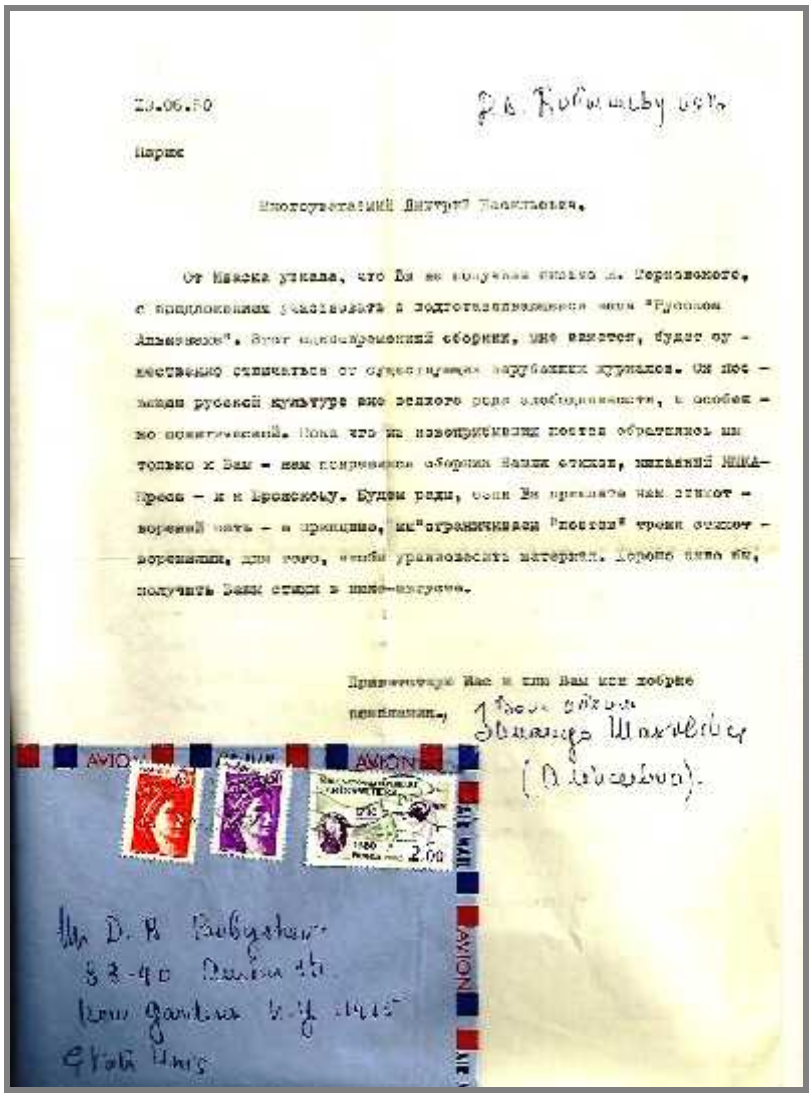
Многоуважаемый Дмитрий Васильевич,

От Иваска узнала, что Вы не получили письмо Е. Терновского, с предложением участвовать в подготавливающемся нами «Русским Альманахе». Этот единовременный сборник, мне кажется, будет существенно отличаться от существующих зарубежных журналов. Он посвящён русской культуре вне всякого рода злободневности, и особенно политической. Пока что из новоприбывших поэтов обратились мы только к Вам – нам понравился сборник Ваших стихов, изданный ИМКА–Пресс – и к Бродскому. Будем рады, если Вы пришлёте нам стихотворений пять – в принципе, мы «ограничиваем» поэтов тремя стихотворениями, для того, чтобы уравновесить материал. Хорошо бы, получить Ваши стихи в августе.

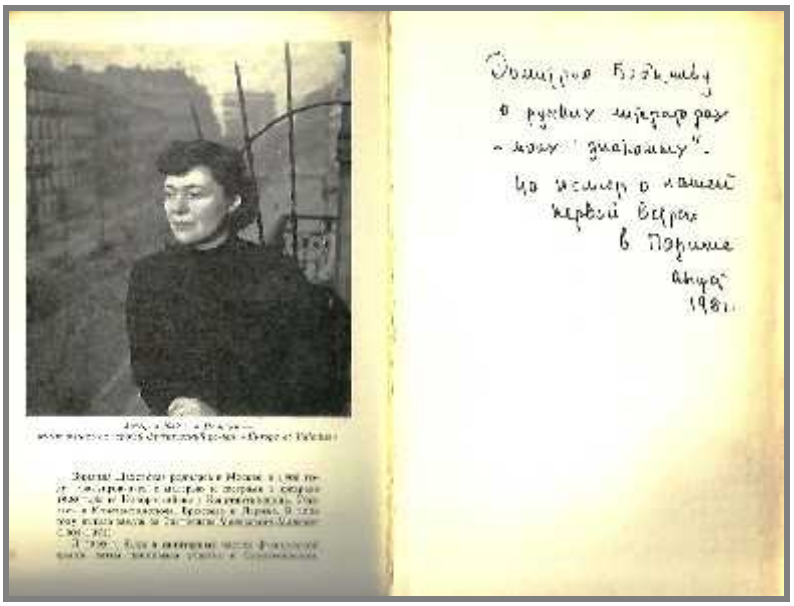
Приветствую Вас и шлю Вам мои добрые пожелания. Вам обоим

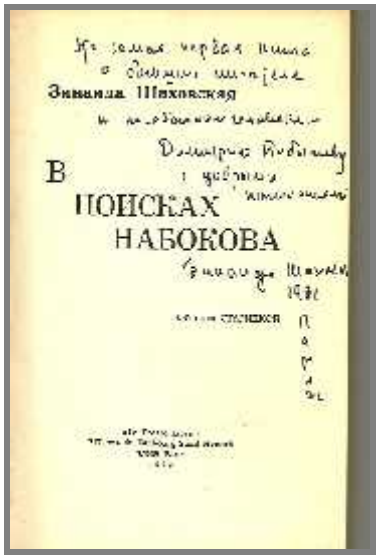
– Зинаида Шаховская (Алексеевна)».

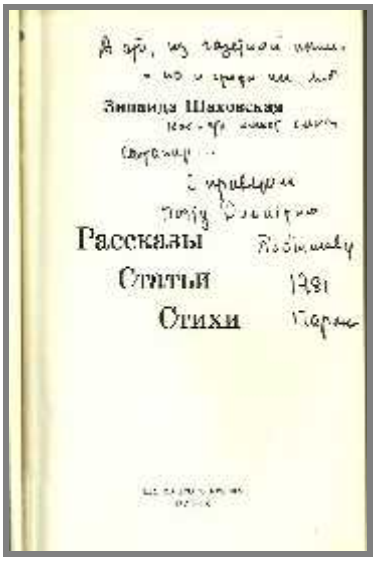
Журнал «Континент», 1982 г.



Письмо Зинаиды Шаховской Дмитрию Бобышеву







Автографы Зинаиды Шаховской Дмитрию Бобышеву

Действительно, в материалах альманаха были собраны неопубликованные отрывки – всё лучшее, что удалось наскрести по сусекам: покойные Андрей Белый и Цветаева, Бердяев и Лосский, Вячеслав и Георгий Ивановы…. Ещё живые Иваск и Чиннов, Моршен и Нарциссов, Перелешин и Одоевцева, Раннит и Вейдле…. И в подпорку старшим – «перспективная молодёжь»: Бурихин, Савицкий…. И, уже вытряхивая всё из редакционного портфеля, на дне обнаружили ценнейшую находку: письмо разбитого и отступающего Наполеона (Михайловка, 7 окт. 1812 г.) маршалу Бертье:

«*Его Величество приказывает соединить Ваши шесть дивизий и напасть без промедления на врага, отбросить его за Двину и снова взять Полоцк…*».

Как символично! И – так же невыполнимо…

На рю Фарадей мне открыла круглолицая тётушка с живыми глазами:

– Дмитрий Васильевич? Очень рада! Моего брата тоже зовут Димитрий.

– Да, я слыхал. Это – владыка Иоанн Сан–Францисский.

– Мы с ним кое в чём сильно расходимся, но родственные связи сохраняем. А сейчас я хотела бы пригласить вас с собой на обед, а потом мы вернёмся и поговорим.

В ресторанчике поблизости она больше расспрашивала обо мне, но мы ели какой-то французский изыск с белым вином, и это отвлекало моё внимание на еду и этикет (княжна всё-таки, а по–здешнему так и принцесса), а когда мы вернулись в её небольшую, сплошь увешанную картинами квартирку, рассказала и о себе за рюмкой грушевого ликера.

Вон тот условный пейзаж с Монмартром и Сакре Кёр написал её покойный муж Святослав Малевский-Малевич, – русский граф, бельгийский дипломат (как я узнал позже) и «немного художник», как она сказала сама.

– Очень стильно написано. И – много, много более, чем профессионально!

– А какой был прекрасный человек, истинно прекрасный…

– Сочувствую в Вашей потере, Зинаида Алексеевна.

Разговор перешёл на литературу, и, конечно же, последовал вопрос:

– Как вы относитесь к Набокову, Димитрий Васильевич?

– Гурман, эстет, чемпион мира по русскому языку. Когда читаешь

«Лолиту», наслаждаешься, но делается как-то противно, будто сам соучаствуешь с Гумбертом Гумбертом. А вот его «Дар» я, безусловно, люблю, хотя и там есть некоторый «чересчур»….

– А знаете, что о нём сказал Бунин? «Чудовище, но какой писатель!»

– Да уж…. А его высказывания о Достоевском? А – о Пастернаке? И, потом, эта нестерпимая поза…

– Вы должны обязательно прочитать мою книгу «В поисках Набокова», там всё это увидите. Я её сейчас надпишу для вас.

Позже я прочитал эту и другие книги, подаренные ею с автографами. Шаховская писала русские стихи, рассказы, мемуарные очерки, полемические заметки. Разбросанность занятий не способствовали ей сделаться крупной писательницей. Но я не упомянул ещё военную журналистику, романы (кажется, успешные) на французском, редактирование…. Верные оценки, проницательные наблюдения всё-таки превратили её в заметную литературную фигуру, хотя она сама отводила себе скромную роль свидетельницы…

Наиболее интересно собрание её заметок и статей о Набокове, с которым они были на–ты, переписывались десятилетиями, встречались, дружили. Книга заканчивается сопоставлением двух её статей, напечатанных во французской прессе с разрывом более 20 лет. Одна – о русском эмигрантском писателе Сирине, вторая – об американском Набокове. На первую он сам отозвался письмом: «Я с интересом и умилением прочёл Твою статью о «Приглашении на казнь» – она, во–первых, прекрасно написана, а во–вторых, очень умна и проницательна».

Вторая статья давала более широкий, но выборочный обзор написанного Набоковым – как по-русски, так и по-английски – и в ней Шаховская сравнила его творчество с бестселлерами, вышедшими параллельно на том и другом языках, то есть с тогдашними Хемингуэем и Пастернаком. Лучше бы она этого не делала! На приёме в издательстве Галлимар в его честь Набоков «не узнал» Шаховскую, брезгливо пробормотав лишь: «*Bonjour, Madame…*»!

Больше я с ней не виделся, но знаю, что дожила она до тех лет, куда и близко не дотягивали её знаменитые собеседники. Успела засвидетельствовать и падение Советской империи, и наступление нового тысячелетия. Правда, её книга, вышедшая в России, уже не застала её в живых, хотя и сумела вызвать нервные реакции. Критик Самуил Лурье прочитал (или просмотрел) эту книгу и, взяв для храбрости княжеский псевдоним, крепко обругал её. Нет, даже не крепко, а хуже– брезгливо, «в духе набоковской образности». Но с интонацией, якобы достоевской, а вкусом «безукоризненным», (в

чём я сомневаюсь). И насчёт образности, признаться, тоже, – она скорей крыловская, поскольку Лурье–Гедройц уподобляет автора вороне, которой Бог что-то там послал, а чего-то и не додал, но она себя возомнила…

С чего, откуда такая грубость взялась у чувствительного критика? Тут верную подсказку даёт его неотёсанный коллега-правдоруб, уподобивший Лурье-Гедройца, некой партийной собачонке: «Малейший намёк на антисемитизм звучит для Гедройца командой: «Фас!»

Но какой же может быть антисемитизм у Шаховской, будь она хоть трижды русская княжна (и при этом графиня)? Может быть, ей на таком основании запрещено употреблять само слово «еврей», хотя бы и в самом невинном контексте? Гедройц желает нас убедить в этом, приведя в рецензии фразу о поездке Шаховской в Берлин в начале 30-х: «В коридоре вагона (*слушайте, слушайте! – С. Г.*) какой-то еврей шепчет мне о своих опасениях, впоследствии оправдавшихся, и гораздо более грозно».

Прослушали. «Какой-то еврей». Ну и что? Остается лишь покрутить пальцем у виска.

Нашёлся ещё один непримиримый критик Зинаиды Шаховской – мемуарист Юрий Колкер. Обидчивый, слабоигольчатый, похожий одновременно на кактус и на свою фамилию…. Но стоит ли пересказывать чужие глупости? Впрочем, вот одна, и незаурядная, венчающая его мемуары: «На свете нашёлся один-единственный пакостник, постоянно отравляющий мне жизнь: я сам».

Среди парижских открыток есть и такая: Кира Сапгир показывает нам со Славинским «её» Монпарнас. Переулочки, закоулки, перекрёстки с сувенирными развалами для туристов. Прелестно, изящно и не по-уличному уютно! Она предлагает мне купить морскую раковину, а в ней – шум вечного праздника:

– Будешь в Америке слушать и вспоминать.

– Нет, Кира, это – детский трюк. Раковину увозят с собой, а праздник остаётся здесь!

Толстая, в широких одеждах гадалки-звездочёта (ей и этим приходится подрабатывать), она читает нам весьма озорной раёшник «В бане». Печатать не собирается, боясь за свою репутацию в газете и на радио. Но шум всё-таки приходит позднее, когда Кира публикует «документальный» шпионский роман «Дисси-блюз» о советских диссидентах в Париже. Каждый второй – агент какой-либо из секретных служб! А есть и двойной агент: она сама.

На склонах Монмартра арабы торгуют кожаными поясами и сумками. И – запускают в воздух лёгкие модели голубей с резиновыми моторчиками, порхающие в точности по чертежам Леонардо да Винчи. А вот ещё примечательная открытка: мы со Славинским сидим на свинцовой кровле одной из башен Собора Парижской Богоматери, – справа, как входишь. Там, где химера, на которую мой друг удивительно похож.

Двое бывших советских, по существу – отщепенцев, для которых Запад был сказкой, а Париж – сновидением, возвышаются теперь в позах Фауста и Мефистофеля не только над воплотившейся мечтой, но и над «и не мечтали!», и «разве могли б мы подумать?»…. Глаза навсегда вбирают прославленные виды, сердце обливается блаженными слезами, давние обиды скулят в уголке сознания, постепенно стихая. Хочется поделиться всем этим невероятием с кем-то ещё.

– Давай позвоним кому-нибудь в Питер, – предлагает Славинский. – Чей телефон ты помнишь?

– Гали Рубинштейн: 213–03–69.

Заходим в будку уличного автомата. Он набирает номер. Гудки…. Я ору:

– Галя Руби! Привет из Парижа! Узнаёшь?

– Кто это? Кто это? Вы шутите!

– Нет, не шутим, но веселимся. Это Бобышев и Славинский.

– Врёте! Из какого места звоните?

Я прерываю наш диалог: «Славинский! Где мы находимся?» А монеты проваливаются в щель автомата…. Он разыскивает глазами настенную табличку и кричит в телефон:

– Звоним прямо с улицы. Бульвар Батиньоль!

– Правильно, есть такой. Я в одной книжке читала…

Щёлк! Все деньги кончились. Но мы ещё с Галей здесь побываем и звонок этот вспомним…

И – заключительная сценка: со Славинским садимся в такси, торопясь на концерт Хвостенко. Тот поёт в каком–то кафе у подножья Монмартра. Пытаемся объяснить это водителю на полу-французском, полу-английском языке. Таксёр, по виду типичный француз–южанин с большим горбатым носом, поводит бровью в нашу сторону и произносит по-русски с армянским акцентом:

– Да скажите вы, наконец, на человеческом языке, куда вам ехать?

Немая сцена… Россия, родина – ты найдёшь нас повсюду.

В «РУССКОЙ МЫСЛИ»

Я летел обратно через океан, испытывая давно забытое чувство – домой! Туда, где будет мне хорошо, где ждёт жена, где ребёнок (правда, полу-чужой, полу-свой) и даже – моя мать! Как пошутила Горбаневская в редакции «Русской Мысли»: «Все мы теперь живём на Западе, и только Дима – на Среднем Западе».

Я побывал у них на рю Фобур Сент-Оноре перед отъездом. И вот где–то в середине сентября раскрыл свежий выпуск и ахнул. Материал обо мне на целую страницу. Жаль только, что мать к тому времени уже уехала, вот бы удивилась! Только не уверен я, обрадовалась бы или нет? Ведь учила она (даже отпуская меня за рубеж) главной советской премудрости: «Не высовывайся!», а я всё норовил наоборот.

В центре страницы красовался портрет работы Игоря Тюльпанова – тот же, что и в книге «Зияния». К нему имелось редакционное пояснение:

«Дмитрий Васильевич Бобышев родился в 1936 году в Мариуполе, с детских лет и до отъезда из СССР жил в Ленинграде, где окончил Технологический институт, работал инженером, редактором телевидения, снова инженером. Первой публикацией на Западе были «Траурные октавы» (в кн.: Памяти Ахматовой, Париж, ИМКА–Пресс, 1974), где он сам определил себя как одного из «ахматовских сирот». Постоянный автор «Континента», где, начиная с № 12, публиковались его стихи и статьи и где будет полностью опубликован цикл «Русские терцины» (в № 31). В 1979 г., женившись на американке, выехал в США. За эти два года печатался во многих зарубежных изданиях. Живёт в Милуоки, где вновь работает инженером».

Левый столбец заняли несколько строф из «Русских терцин», на остальном поле раскинулось интервью. Не без колебаний, я решил его здесь поместить, по крайней мере, наиболее содержательные куски, иначе – кто, какой гипотетический биограф это сделает? К тому же, газетные материалы легко исчезают…. А так оно удачно свяжет темы всех трёх книг «Человекотекста».

Вопросам предшествовало краткое вступление:

«Попав впервые в редакцию «Русской Мысли», Дмитрий Бобышев сказал то, что мы уже привыкли слушать: «Какая уютная квартира у вас тут!» И правда: наша редакция похожа на просторную

старинную квартиру – в ней есть дух дома. И, наверно, поэтому, выбирая место для предполагавшейся беседы, мы подумали: квартира квартирой, уют уютом – а самые лучшие разговоры всегда велись на кухне. Мы так привыкли.

Так мы и устроились на тесной редакционной кухне, вокруг старого дубового стола. И интервью превратилось в общий разговор, в котором, кроме самого Д. Бобышева, приняли участие Наталья Горбаневская, Наталья Дюжева, Сергей Дедюлин, Владимир Рыбаков и Кира Сапгир».

Дальше пошли вопросы и ответы:

– Как ты ощущаешь себя вне России?

– Здесь, на Западе, всё воспринимается иначе. Но всё-таки мы – оттуда. Там мы жили, там стали сами собой. Места рождения не выбираешь, но в этом и есть интересный феномен – не выбирая, тем не менее, преодолеть, осмыслить, стать собой. Везде это проблема. Но там, может быть, даже легче стать собой.

– Почему?

– Потому что, скажем, не печататься десять лет – это значит пройти через несколько внутренних ломок. Что-то отбракуется заведомо нежизненное, но что останется, то – настоящее. Кто сумел пройти через это и одолеть, тот ощущает себя совершившимся, состоявшимся.

– Но про себя ты можешь сказать, как ты постепенно становился самим собой? Я имею в виду – там…

– Во-первых, какое–то инстинктивное чутьё неправды у многих развивается ещё в детстве. Но русская литература и русская поэзия – это такое поразительное средство противостояния, такое противоядие от лжи! Получается так, что вместе с пропагандой в советской школе преподаются и вечные ценности. А пока есть русская литература, есть всё – Россия, будущее, настоящее, есть люди.

– А не мог бы ты в этой связи рассказать о вашей истории с газетой «Культура»?

– В 53–м году я поступил в Технологический институт. Это было сразу же после смерти генералиссимуса. Потом наступил 56-ой год, повеяло переменами. В каждом из нас жила потребность участвовать в том новом, что тогда возникало, хотелось внести в этот процесс своё чувство будущего. Вот тогда и появилась та самая стенная газета «Культура». Это было обновление мёртвого жанра: обычно ведь стенгазета – это нечто вроде доски объявлений, плюс передовица, а мы вложили туда новое содержание.

– Мы – это кто?

– Мы – это…. Вообще странные мы были студенты для технического вуза. Я там замечал больше – композиторов, поэтов, либреттистов…. Тогда секретарем комсомола был Борис Зеликсон, поразительный человек, от которого непрерывно исходили идеи. Выбрали его, потому что он всех покорил своими пародиями и куплетами – у нас тогда были настоящие выборы, вы только подумайте!

Идея с газетой «Культура» тоже принадлежала ему, и она оказалась в одно и то же время плодотворной и опасной. Зеликсон предложил мне редактировать литературный отдел, и я согласился, Евгений Рейн стал редактором отдела живописи, а Анатолий Найман – кинематографии.

Я написал статью о поэте Владимире Уфлянде. Сейчас это имя известно, а тогда он только начинал. Статья называлась «Хороший Уфлянд», что уже было необычно для заметки о начинающем авторе. Там я писал, что в стихах Уфлянда есть ирония, юмор, есть свежие рифмы, и пишет он о простых вещах без пропагандистского пафоса, то есть буквально «не тащит читателя, уставшего после работы, на борьбу и сражения». Это оказалось крамолой. Кто–то сорвал мою заметку и отнёс в партком. Другие материалы тоже подверглись цензуре. Нас обвинили в том, что наша газета – без чёткого политического ориентира. Газета и вправду была ориентирована не политически, а культурно, она и называлась «Культура».

– Если бы она называлась «Политика», было бы ещё хуже!

– Разумеется…. Но и без того в «Комсомольской правде» появился фельетон под обманчиво мирным заголовком «О чём же думают товарищи из Технологического института?» Однако тон его был нормально свирепым, даже зубодробительным. (*Позволю себе позднейшую вставку: я теперь убеждён, что под «товарищами» подразумевались не мы, а те, что сидели в парткоме и слишком долго думали, прежде чем нас разогнать. – ДБ*). Тут же последовали санкции, вплоть до исключения из института. Я в это время «удачно» оказался в больнице и избежал неприятностей.

Разгром произошёл одновременно с венгерскими событиями в ноябре 56–го года, и дальше всё уже перешло к другому ведомству. Дело газеты «Культура» существовало в анналах КГБ и не было закрыто. Но когда почти девять лет спустя Борис Зеликсон был арестован в связи с неомарксистской группой и подпольным журналом «Колокол», следователь, допрашивая его в своём кабинете, с удовольствием вынул толстую папку с делом газеты «Культура» и подшил её к делу Зеликсона. Таким образом, оно было закрыто, и, как говорится, «все были счастливы».

– О «Культуре» мы заговорили в рамках проблемы – как человек становится самим собой. Так что тебе эта история дала для того, чтобы стать самим собой?

– Я эту историю не отделял от себя. Она развивалась, и я развивался вместе с ней.

– А было ли что–то, какое–либо событие в твоей жизни, которое бы оказало влияние на твою жизнь?

– Кажется, ничего внешнего. Ничего такого, что взяло бы меня за шиворот, потащило, заставило всё изменить. Но было существенное внутреннее событие.

– Оно случилось в начале марта 72–го года, в годовщину смерти Анны Ахматовой. После обыкновенного дня я вернулся в свою комнату, которую снимал на Невском проспекте, прямо возле Аничкова моста, и уснул. И всё началось во сне. В течение всей ночи во мне проносились мириады сюжетов, свёрнутых, как пружина, всаживались в моё сознание, и – выносились…. В памяти не оставалось ничего, но сознание менялось. Так продолжалось всю ночь. Если взять зрительный образ для сравнения – это невское небо при сильном западном ветре, когда несутся клочья облаков при полной тишине внизу.

Я проснулся в полном истощении. Колотила нервная лихорадка. Долго не мог собрать силы подняться. Но сон следующей ночи был глубочайшей пропастью – никаких сновидений, бездонный покой. Когда последовало новое утро, я проснулся с ощущением внутренней мощи. Меня рвануло к письменному столу. Сознание невероятно расширилось, и мне казалось, что я вижу весь мир передо мной. Те пружинные сюжеты предыдущей ночи разворачивались в стихи и образы: вселенная, вещество, дух, человек, всё прошлое, история, доистория, послеистория – всё вмещалось сюда через понятие вещества и материи как демонов, отвердевших в своём отпадении от Творца. Иначе говоря, всё в мире являлось и является противоборством духовного и материального начал. И я стал писать об этом «Вещественную комедию», в которой земные элементы преображаются творчеством. Всегда, когда я начинаю что–то, у меня есть хотя бы смутное представление о том, как это должно кончиться. В той поэме было предчувствие гармонических, прекрасно–ангельских звуков. И я прервал работу над поэмой ровно тогда, когда такие звуки стали издалека слышны, и стал писать «Медитации» и «Стигматы» – появились у меня такие композиции.

В процессе всего этого я оглянулся вокруг себя и внутри себя, и оказалось, что я нахожусь уже в стенах Христианской Православной Церкви. Но я не был крещён. Как раз в ту пору приехала в Ленинград Наталья Горбаневская, и я поделился с ней своими переживаниями. Наталья отвела меня к отцу Дмитрию Дудко, и он крестил меня, а она стала моей крёстной матерью.

– А что в твоей жизни значила встреча с Анной Ахматовой?

– О, это была встреча с реальной культурой. Пока читаешь книги, в этом не удостоверяешься, а она давала чувство прикосновения к мировой культуре, к наследию её прошлого и даже к будущему. Ну и, конечно, мечталось получить из её рук посвящение – наподобие рыцарского или жреческого.

– «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил», – сказано у Пушкина. Вот этого «старика Державина» недостаёт всем стихотворцам, ведь каждому нужен акт посвящения. Иногда он бывает жалким. Мне повезло – Ахматова мне посвятила стихотворение. Это ж – как ощутить на плече удар мечом плашмя…

– А ещё, соприкасаясь с Ахматовой, можно было увидеть реальность не только лиры, но и Музы…

– Да, и ещё причастность к основам самой ткани культуры: к её материалу, верёвкам, жилам…. У неё был свой разговор, перезвуки с Шекспиром, больше того – с Данте.

– Дима, а теперь – о «Русских терцинах». Что это такое?

– Я пока сам не знаю. Это для меня что–то новое. Я решился на многое с этими терцинами, на что никогда не решался – писать не от себя, а от имени собирательного «мы». Поэтому здесь не столько мои мысли, сколько мысли, споры, недоумения, обрывки мифологий и чувств, которые существуют сейчас там, в России, в Советском Союзе. Это все наши разговоры в дружеском застолье, в рабочих курилках, во время прогулок по набережным, по улицам – разговоры начистоту русских современных людей. Разговоры о себе, о том, кто такие МЫ, о том, что МЫ – ЕСТЬ, ответы и загадывания о смысле истории, о русскости, о причинах и следствиях…. О вечных вопросах: «Кто виноват?», «Что делать?», «Ехать – не ехать?» – это современный проклятый русский вопрос. Когда собирательное «мы» диктует «мне», его части, – нельзя противостоять этой прямолинейной стихии.

– Мне кажется, прямолинейность твоих терцин снимается их полифоничностью. Тем, что эти прямые линии на самом деле не столь уж прямы и переплетаются.

– Я рассчитываю на это и делаю попытку рассматривать тему со всех возможных и доступных мне точек зрения. Кроме того, я там нашёл, мне кажется, новую форму, лапидарную, похожую на сонет, но более краткую, и форма тоже кое-что диктует. Там – десятистрочия…. Первое обозначено нулём, – я начал с нуля, на Западе так и нужно!

– Но почему?!

– А потому, что мы всё оставили там, здесь же мы нагие, как Адамы, как Робинзоны. К тому же нулевая – это терцина о терцине, о том, как она пишется.

– «Русские терцины» после нулевой – это 90 десятистрочий, которые делятся на три части. Что представляет собой каждая из трёх частей в этом переплетении и всё-таки продвижении прямолинейных кривых?

– В каждой терцине есть теза и антитеза – столкновение разных умонастроений или разных подходов, а затем – вывод и поворот к новой теме. Есть и прямые – до искр из глаз – столкновения выходца из Советского Союза с западной реальностью. А отзвуки уходят в историю и в традиционные представления о том, кто мы такие, почему нам плохо, какими мы предстоим миру? В первой части, пожалуй, силён какой–то нигилизм, самоотрицание, русским людям, впрочем, очень свойственное. Дальше, во второй части ещё похуже: уже не нигилизм, а негативизм по отношению – главным образом – к современности. Но уже возникает какое–то позитивное зерно.

И мне кажется, что в третьей части это вот позитивное больше проявляется. То есть – мы не такие безобразники, как любим порой о себе заявить. Мы нужны миру, мы – часть Божьего хозяйства и кое-что сделали для него.

И – делаем…

Дмитрий Бобышев с Натальей Горбаневской (1975 г.)

ДУХОВНЫЕ ПУТИ РОССИИ

Поэт Дмитрий Бобышев
В «РУССКОЙ МЫСЛИ»

Статья о Дмитрии Бобышеве в «Русской мысли»

Нора ФАЙНБЕРГ
Филадельфия, США

МАРКИ ОСТРОВА ФИДЖИ

– Улетаете на Фиджи? – спросил наш приятель. – Привезите мне оттуда марки.

– Непременно, – охотно согласились мы, – непременно.

Собственно, наше с мужем путешествие начиналось с Новой Зеландии, а уж оттуда мы улетали на Фиджи. Об этом острове мы знали только то, что его аборигены когда-то были людоедами и съели капитана Кука. Помните у Высоцкого? «Мне видится совсем простая штука: хотели кушать и съели Кука». Правда, Джеймс Кук был убит в 1779 г. на Гавайских островах. Его останки (части скелета) были выданы англичанам. Может быть, поэтому и родился миф о том, что он был съеден аборигенами. Перед путешествием мы поинтересовались историей Фиджи. Мы узнали, что остров был исследован голландцами, в семнадцатом и восемнадцатом веках там обосновались англичане, и с 1874 года Фиджи принадлежал Британской Короне. С этого времени остров стал поставщиком сахарного тростника. Для работы на его плантациях Британия завозила рабочую силу из Индии. Индусские чужеземцы, конечно, испытывали расовую дискриминацию, что и сплотило разнородных индусов и уничтожило кастовые разобщения между ними. Так называемые «неприкасаемые» растворились в общей массе индийского населения. Расовые конфликты продолжались и в уже независимой с 1970 года республике Фиджи, что приводило к неоднократным государственным переворотам, особенно потрясших страну в 2000 г. Но это было уже гораздо позднее нашего путешествия. Наши приключения носили мирный характер. Начались они с полёта на остров Фиджи.

– Если на борту есть врачи, – объявила стюардесса, едва мы расселись на свои места, – пожалуйста, объявите об этом.

– Мой муж и я подняли руки. Нас подвели к больной пассажирке. Пожилая, очень полная фиджианка, не говорящая по-английски, показала нам бумагу, где значилось, что она страдает пояснично-крестцовым радикулитом в связи с грыжей диска. Женщина явно страдала от боли. Она протянула нам ампулу с лекарством (волтареном) и шприц. Ей требовалась инъекция. Мой муж был вызван к пилоту.

– Подождите с инъекцией, доктор, – попросил он, – мы зафиксируем эту пассажирку на время взлёта, а когда мы будем в воздухе, можно будет сделать укол.

Стюардесса освободила несколько мест, пересадив куда–то пассажиров. Женщину положили на носилки, затянули ремнями, чтобы застраховать её от случайной встряски. И после взлёта муж ввёл ей лекарство. Моя миссия заключалась в протирании кожи спиртовой салфеткой. После чего мы вернулись на свои места. В течение полёта мы пару раз по очереди навестили больную, жестами давшую нам понять, что она чувствует себя хорошо. Каково же было наше изумление, когда по прилёте мы получили неожиданный подарок от команды: каждому из нас по две бутылки французского шампанского.

Раз так, мы пригласили всю нашу группу отпраздновать прибытие на Фиджи полученным шампанским. Да и было что праздновать: нас привезли в живописный курорт на берегу океана, разместили в стилизованных тростниковых бунгало, разбросанных среди пальм и тропических кустарников, освещенных факелами. Бунгало изнутри являли просторные комфортабельные номера с телефонами, телевизорами, сверкающими кафелем ванными, в которых висели оранжевые кимоно. Все члены нашей группы, не сговариваясь, явились к нам, облачившись в эти кимоно, и мы дружно выпили шампанское, закусывая солёными орешками (подарок от администрации). Эта маленькая импровизированная вечеринка сплотила нас, до этого едва знакомых друг с другом людей.

Вечером, едва стемнело, мы с мужем отправились смотреть небо южного полушария. Нам хотелось, наконец, увидеть Южный Крест. Надо сказать, что мы пытались взглянуть на него ещё во время наших прошлых поездок в Бразилию и Аргентину, однако, безуспешно: небо было сплошь затянуто то туманом, то облаками. Ну, уж на Фиджи – непременно. Нас сопровождал служащий отеля: оранжевые шаровары, костяные ожерелья на голом торсе, лицо расписано устрашающими красками. Освещая факелом дорогу, он вывел нас на берег океана.

– Вот он, Южный Крест.

Я тщетно разглядывала необычное бледно-серое небо, но не могла распознать среди звёзд очертания креста.

– Ну, как же ты не видишь, – удивлялся мой муж, – вот же он, прямо над твоей головой.

Я вздохнула.

– Ну да, вижу, вижу, – мне стыдно было признаться в своей тупости. С астрономическими изысканиями было покончено.

Утром мы отправились на пляж. Песчаный берег и тихий, в полном смысле слова, Тихий океан. Плавать, буду плавать. Но не тут-то было. Едва я ступила босой ступнёй на песок, как он зашевелился под моими ногами. Да это вовсе не песок! Это крохотные черепашки

или насекомые, которые двигались и быстро–быстро катились из–под моих ног и впереди меня к океану. Я с отвращением убежала прочь от берега, предпочитая природным водам вычищенный бассейн. Но пора было подумать и о марках. *Где их купить? В городе. На почтамте. Ждите автобуса у выхода из территории отеля.* И едва мы подошли к воротам, как подкатил автобус. Но что за автобус! Маленький, грязный, отплёвывающийся бензиновой гарью. Окна вместо стекла затянуты плёнкой. Мы уселись на рваные, когда–то кожаные сиденья. Автобус чихнул и затрясся, вздымая пыль на просёлочных ухабистых дорогах. Он останавливался возле грязных дворов, окруженных сломанными заборчиками, за ними виднелись ветхие деревенские хижины, вокруг которых расхаживали пёстрые куры. На ступеньках крыльца сидели грязные голопузые ребятишки. В автобус входили грузные женщины в цветастых юбках и тюрбанах с плетёными корзинами. От двора до двора мы кружили больше часа, набирая пассажиров и, наконец, подкатили к городской цивилизации – асфальтированной улице с множеством магазинчиков с вывесками «Сувениры». Пассажиры выгрузились и потянулись в сторону, где под тростниковым навесом располагался рынок. Мы обошли магазины и, конечно, накупили красочных деревянных статуэток и прочих туристических приманок, заранее зная, как будет насмехаться над нами наш сын. Заядлый путешественник, он всегда обходил стороной туристические маршруты – «места для Мики Мауса», так он их называет. Ну, да ладно.

Нам пообещали: дождей в ближайшие две недели не будет. Они в это время поливают другую половину острова, а затем погода поменяется местами: здесь будут дожди, а там солнце. Мы не успели даже порадоваться этой приятной информации, как на нас обрушился стеклянной стеной тропический ливень. Мы укрылись под навесом базара, где на земле, на разостланной рогоже лежали яблоки и зелёные стволы сахарного тростника – основной ассортимент продажных товаров. Рядом на земле сидели красивые смуглые черноглазые дети и улыбались, не заискивающей, а просто приятной, приветливой улыбкой. Загнанные дождём, мы в который уже раз обходили узкие проходы между расстеленными на земле всё теми же товарами.

От нечего делать грызли красные безвкусные туземные яблоки. А цель нашего путешествия – почтамт с марками – находился как раз напротив, через дорогу, вернее, через пустырь, превратившийся от струящихся на него потоков в пруд. Но что было делать? Едва дождь начал стихать, мы выскочили из рыночного заточения и, невзирая на образовавшийся водоём, устремились к почтамту.

Почтамт – деревянное здание на сваях, опоясанное деревянной террасой. Мы поднялись по узким ступеням, и вот они – марки на стойке за стеклом. Яркие, красочные, тропические цветы. Мы выбрали два блока и направились к окошку, за которым сидел молодой фиджианец.

– Мы хотим купить марки.

Фиджианец, не глядя на нас, указал пальцем на следующее окно. Мы шагнули к указанному окошку, за которым сидел молодой человек, на мой взгляд, точная копия первого.

– Мы хотим купить марки.

И этот служащий, не повернув головы, молча, указал нам на первое окно. Кстати, их было только два. Два окна, двое служащих–двойников. Мы прошагали, как маятники между окнами и молчаливыми клерками до тех пор, пока мой муж, побелев, не стукнул кулаком по деревянной перегородке. Вот это подействовало. Оба мгновенно вышли из-за своих застеклённых баррикад

– Марки? Пожалуйста.

И мы ушли с радостным сознанием выполненного поручения. Пора было возвращаться в наш земной рай. Мы отправились на автобусную остановку. На этот раз вместо прежней колымаги подъехал сверкающий новый автобус, с мягкими сиденьями и кондиционером. Оказалось, автобус принадлежал нашему курорту и постоянно курсировал между ним и центром города. Мы просто не дождались его утром. Он домчал нас за пятнадцать минут до нашего места, а мы столько времени убили утром на эту нелепую поездку. Ну, хоть марки купили. По дороге к своему бунгало мы встретили несколько человек из нашей группы.

– Где вы целый день были? – спросили они.

– Ездили в город.

– Что–нибудь интересное? Что нас потянуло за язык? Желание подшутить? Досада за потерянное время? Но мы вдруг взахлёб стали расхваливать наше путешествие. И как интересно, и какие магазины, и какой самобытный базар. Словом, мы рекомендуем туда отправиться.

– Спасибо за информацию, – сказали наши новые друзья, – мы тоже непременно поедем.

В течение следующего дня мы со страхом ожидали их возвращения. Мы уже раскаивались в своей глупой шутке. Зачем мы это сделали? Вечером мы даже решили не выходить из нашей комнаты. Пусть отойдут, успокоятся, встретимся завтра. Но они сами постучали в нашу дверь.

– Мы пришли поблагодарить вас за прекрасный совет. Мы получили столько удовольствия. Это был настоящий “fun”.

– А.... где же вы были? – растерянно спросили мы. Шутят? Пытаются нас разыграть в отместку? Но нет. Они и вправду были довольны. Оказалось, они наняли такси на целый день. Водитель повез их в какой–то старинный монастырь, ещё на какие–то достопримечательности. Рассказывал много интересных историй. Закончили прогулку они обедом в его доме, познакомились с его семьёй. Словом, всё было прекрасно. Сделали много фотографий. Ещё раз спасибо. Ну, вот так, Слава Богу. А мы так ничего и не увидели. Ну, зато марки купили.

– Привет! Мы привезли тебе марки острова Фиджи, – радостно сообщили мы нашему приятелю, как только вернулись домой, – завтра же принесём.

Но на следующий день, собираясь в гости, мы не нашли наших марок. Мы вытряхнули чемоданы, перебрали каждую привезенную вещь, одежду – безрезультатно. Марки исчезли, как не бывало. Конечно, виноватой оказалась я: забыла, потеряла. Но что поделать? Главное, как теперь выйти из положения? Ведь мы уже похвастались нашему другу, что привезли марки. А теперь его ждёт такое разочарование!

И мы принялись разыскивать марки из Фиджи, где только могли. Опросили всех знакомых любителей-филателистов, обзвонили все филателистические магазины Филадельфии. Марки Фиджи действительно оказались раритетом. Наконец-то, посчастливилось. Кто-то что-то подсказал, и разыскалось местечко в Нью-Йорке, где можно было заказать эти злополучные марки. Заказали, оплатили, дождались. Прибыли. Далеко не такие красочные, но всё-таки из Фиджи. Приятель был доволен. И эта история с марками была благополучно завершена.

Прошло много лет. Марки из Фиджи были забыты. Столько было пережито событий, тревог, да и настоящего горя. Мой муж умер. И вот, собираясь в какую-то поездку, я открыла чемодан и вдруг – вот они, пропавшие марки! Завалились за подкладку.

Они лежат передо мной, сверкая буйными тропическими красками. «Ну, вот видишь», – сказала я мысленно своему мужу, – я не потеряла марки, они были в чемодане. Мы просто плохо их искали. Я снова вспомнила наше нелепое путешествие на почтамт под ливнем. И как мы досадовали из-за потери этих марок. Сколько было упрёков, волнений, ненужного напряжения. А ведь это были счастливые дни совместной жизни. Мы тогда не подозревали, как хрупка жизнь, как быстротечны её дни, и стоит ли омрачать их мелочью ненужных обид. А вот Южный Крест я так и не увидела. Ну и Бог с ним.

Юрий Топунов . Портрет Натальи Крофтс (графика)

Наталья Крофтс
Сидней, Австралия

«ВСТРЕЧИ»

Рассказ-мозаика

1. СИЦИЛИЯ

В маленьком итальянском городке,
где улицы карабкаются по склонам,
возбуждённо, как крыльями, размахивая бельём на
верёвках…

В маленьком итальянском городке,
где усатые старики, одетые в чёрное,
сидят на стульях перед кафе
и поворачиваются всем телом,
чтобы проводить взглядом каждого прохожего…

В маленьком итальянском городке
мы пили кофе из маленьких белых чашек
под звуки вечно оживлённых разговоров
на певучем и сочном языке.

Диалог за соседним столиком вдруг прервался, один резко встал и вышел, а другой, потеряв собеседника, оглядел кафе в поисках нового.

– Какие все стали нервные из-за этой войны, – сказал он, помахав газетой.

Завязался разговор, и на него тотчас, как мухи, налетело человек десять, рассаживаясь вокруг нас: все почтенного возраста, в пиджаках. Говорили все сразу, и о войне в Югославии, и об Италии, о правительствах, о деньгах…

Один оживился, узнав, что я с Украины, его круглое лицо расплылось в радостной улыбке, и даже тощий стул от удовольствия крякнул под его грузным телом.

– А я ведь был на Украине. И по-украински говорить умею, – сказал он, – «хліба нема». И песни помню, – и он запел что-то весёлое про «дівчину чорнобриву», лихо пристукивая палочкой. – Столько лет прошло, а я помню.

Вопрос: «А что вы там делали?» – завис на губах:

– А… в каких городах вы были?

– До Сталинграда дошёл. Холодно было. А потом – назад. Домой, на Сицилию на два месяца. И только вернулся в часть – Муссолини капитулировал, и нас всех – в немецкий концлагерь. Самое жуткое время было.

– Так, наверное, под Сталинградом было не лучше, – заметил мой спутник.

– Нет, там хоть было чем заняться, – он весело посмотрел на нас и несколько раз нажал пальцем на невидимый курок.

Мои старики встретились под Ленинградом. И если бы не война, меня бы не было. И если бы тогда кто-то с весёлым азартом нажал бы на заледеневший курок – настоящий, железный – меня бы тоже не было.

Круглое лицо улыбнулось нам, и под выгнувшимся от жары сицилийским небом опять заплясала песня про «дівчину чорнобриву», убегая прочь по узким гнутым улочкам.

А он сидел, улыбчивый человек, воевавший за фашистов и сидевший у них же в концлагере; человек, в которого стреляли русские и который сам стрелял в них; человек, которого морозили снега Сталинграда и грело солнце Сицилии; и в котором уже полвека жила песня про «дівчину чорнобриву», сплетённая с леденящей памятью о том, что «хліба нема».

А мы сидим и пьём горячий кофе.
И обсуждаем новую войну.

2. ИНДОНЕЗИЯ

Пожухлые листья чуть раскачиваются под тонкими, почти неуловимыми пальцами ветра, пробегающими – как пианист по клавишам – по древним ветвям. Тихо в старом дворике полузабытого индонезийского дворца. По облупленной стене пробирается муха, в надежде убежать от двигающегося палящего луча. Но лететь ей лень.

Жарко.

Ветер замолкает – и становится так тихо, что слышно, как шуршит штукатурка под мушиными лапками. Над квадратиком двора – небо цвета аквамарина, и на нём – до отчаянья одинокий клочок белого облачка.

И вдруг в этой застывшей, заспанной тишине появляется голос. Низкий ритмичный звук. Он наполняет собой маленький дворик, он кружится вокруг старинного ствола, отталкивается от стен, обволакивает каждый лист.

Старый служитель раскрыл пожелтевшую книгу и протяжным речитативом читает стихи. Звучит Рамаяна. Старик один. Он читает себе, древнему древу, мухе, клочку облака и растворённому во всём этом Вишне ли, Будде ли, другому ли какому божеству.

Щуплая фигурка сидит на облезлой зелёной скамье. Дворец давно обветшал, обветшали и служитель, и книга. Только слова кружат с неутомимой силой, забыв, что они древнее и дворца, и дерева, и старика. Они непонятны мне, случайному прохожему, застывшему за колонной. Но ритм их проникает в кровь и единит меня со старым двориком, аквамариновым небом и незримым духом – тем самым, что нашептал какому-то поэту эти заветные слова много сотен лет тому назад.

3. НА ПЛЯЖЕ

– Девушка, который час?

Да, она хороша. Она это знала и привыкла к постоянным приставаниям, но на этот раз ухажёр появился уж слишком внезапно, пока купальщица, прикрыв глаза, покачивалась на мягких волнах. От неожиданности она испугалась, а потом рассердилась:

– Вы что, с ума все посходили! Хоть в воде можно меня в покое оставить?!

Он пожал плечами:

– А где же ещё знакомиться?

В общем-то, он прав. Курорт, пляж... Он по-своему оригинален, и глупо было так сразу грубить. К тому же такие чистые зелёные глаза не каждый день увидишь. Она кокетливо улыбнулась:

– Но я же могла утонуть от испуга!

– Утонуть? – он, казалось, не понимал.

– Вот ушла бы под воду, – вздох, взгляд искоса на кавалера, – кто бы стал спасать? Так бы меня здесь больше и не увидели.

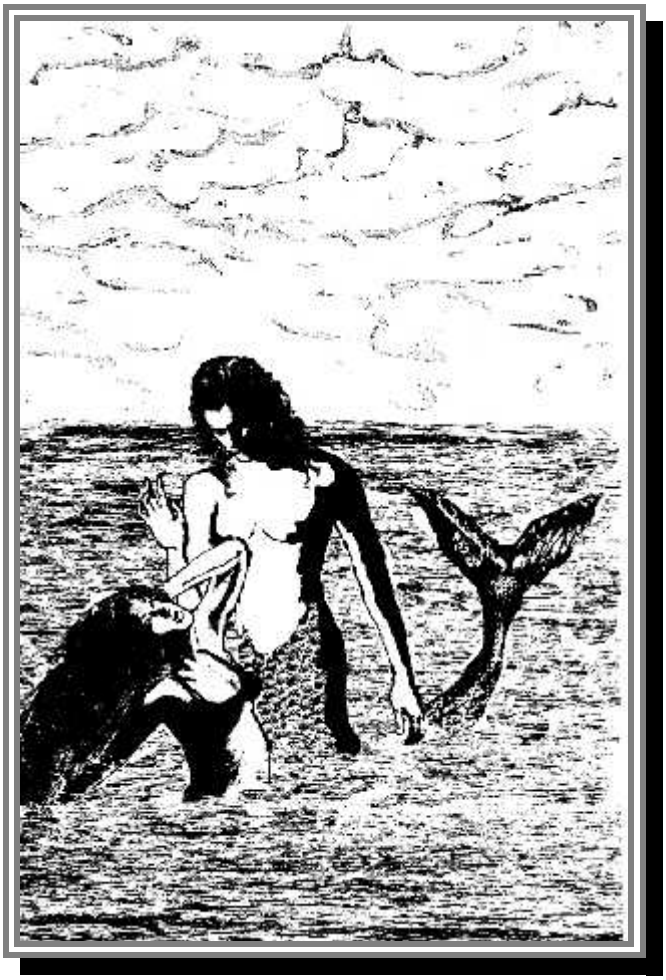
– А что ж в этом плохого?

Уж такого она простить никак не могла:

– Хам! Ну и плывите своей дорогой!

Он опять пожал плечами и нырнул. Серебристо-зеленоватый хвост изобразил что-то типа прощального взмаха. Хвост?!

Визжавшей помогли выбраться на берег и принесли воды.



Юрий Топунов. На пляже (графика).

4. НОЧНОЕ СВИДАНИЕ

Похоже, Юльку он привёл сюда целоваться. Место было пустынное, романтичное: на плоском листе искусственной гавани жёлтыми ёлочками лежали огоньки обступивших её небоскрёбов. Тускло поблёскивали ещё тёплые перила набережной, за ними, чуть снизу, чернела вода. Жара спадала, угоняемая ленивым ветерком Персидского залива.

Но с другой стороны, может, кавалер хотел просто погулять: мест для прогулок здесь немного, да и трудно найти хорошую компанию, чтобы согласилась и просуществовать полчасика без кондиционера, и передвигаться без машины. К тому же, как известно, безлюдность безлюдностью, а всё-таки целоваться посреди Дубая – дело рисковое. Романтиков, нарушающих местные законы, случалось, отвозили в кутузку.

На эти законы все жаловались. Ни тебе начала бурных романов в кафе и ресторанах, ни тебе возможности заранее прощупать предлагаемый «товар» до решающего момента. Так что убить вечер в случайной компании здесь не позволял местный колорит. А Юлька – наверное, дура, всё-таки – была рада. Гулять можно было без опасений, к стенке тебя никто не припирал, и всегда было время не спеша оценить ситуацию. Ведь бывает же, попадётся отличный материал, и можно из него вылепить друга на всю жизнь, а глупость какая-нибудь в самом начале всю картину смажет, и – адью потенциальный верный друг. Или ещё хуже: какой-нибудь хмырь живёхонько окрутит, а потом сама же жалеешь, и неловко перед, в общем-то, порядочным отражением в зеркале. Ну а благодаря этим самым местным законам Юлька наслаждалась «свободным плаваньем».

Вот и этот, «Дон Жуан», собеседником был неплохим. Весёлым. Неглупым. Об общих знакомых говорил очень наблюдательно, поругивал Дубай, его скуку и одиночество.

«Дона», конечно, Юлька мысленно добавила, а имя – это ему уж от любящих родителей досталось, рядовое, в общем-то, имя. Но кличку он пока оправдывал, так как за девушкой ухаживал со знанием дела. Сначала привёл в уютный и неброский тайский ресторанчик, тем более понравившийся, что в этом блестящем царстве позолоты такие места – редкость. Потом повёз потанцевать в клуб, деликатно пригласив ещё пару приятелей. И хотя танцевал только с Юлькой, других дам не приглашая, но напряжения не было: мол, мы здесь в компании, все свои, все друзья.

Но была и заковырка. Ещё при знакомстве «Дон Жуан» честно сказал Юльке, что у него есть невеста, и через год будет свадьба. И хоть невеста – она там, в Испании, да и потом «невеста» – это ещё не жена и мать троих детей, а всё-таки горячку пороть не стоило. Да Юлька и не порола: неспешно присматривалась к новому знакомцу.

И сейчас, когда он оперся о перила и наблюдал за стройкой, кипевшей при ночной прохладе на противоположном берегу, Юлька искоса поглядывала на кавалера, пытаясь определить, что же всё-таки за фрукт этот «Дон Жуан». Фрукт повернулся к стоящей рядом Юльке, ласково улыбнулся и медленно провёл пальцем по её предплечью.

– Вечер добрый, – произнёс рядом тихий голос.

«Дон Жуан» чуть отпрянул от дамы и повернулся к говорящему. На пустой набережной стоял невысокий индус средних лет. Сандалии на босу ногу, пижамного вида сероватые штаны, светлая рубаха, в руках – целлофановый пакетик.

– А я тоже люблю это место, – сказал нежданный гость, чуть покачивая головой и тихонько улыбаясь в усы.

– Да, красиво, – вежливо откликнулся «Дон».

Индус протянул руку и представился каким-то сложным именем, которое Юлька тут же забыла.

– Жуан, – сказал испанец, отвечая на пожатие.

– Юлия, – представилась девушка, первой протянув руку. Женскую руку индус взял осторожно-почтительно и пожал почти незаметно.

Довольный знакомством, пришелец неожиданно ввинтился в небольшое пространство между Юлей и Жуаном, благо атлетичностью телосложения не отличался. Они постояли молча, глядя на чернильную воду и разноцветные огоньки. Новый знакомый, казалось, был полностью умиротворён и ничего большего от этой жизни не желал. Так они и замерли, как на фото, на пустынной набережной Марины Дубая.

Наконец, Жуан заёрзал, метнул на Юльку иронично-недоумевающий взгляд и, похоже, собирался, деликатно откланявшись, увести даму от этого материализовавшегося ниоткуда «третьего-лишнего». Но индус уловил движение и сказал, как будто продолжая прерванный разговор:

– Вы знаете, я даже фотографирую это место, – И неожиданно добавил: – Хотите посмотреть?

«Дон» медленно кивнул, почти скрыв полное отсутствие энтузиазма.

Из целлофанового пакета появилась целая пачка фотографий, перекочевала из рук индуса в руки испанца. Жуан посмотрел на первое фото, передал Юлии.

Вечер на фото был очень похож на сегодняшний: тёмный задник с огоньками, ненатурально-белые от вспышки перила…. Действительно, место было то же. В кадре был сам индус, а рядом с ним стояла пухленькая дама средних лет, в спортивном костюме и с холёной моськой на поводке. Таких в Марине было множество: и мосек, и европейского вида дам, убивающих время, пока супруг зарабатывает копеечку где-то у себя в офисе.

– А это? – спросила Юлька, осторожно указывая на даму. Индус был явно «разнорабочим», так что дама вполне могла быть хозяйкой в доме, куда он подрядился мыть и пылесосить.

– Мой друг, – закивал индус.

Ну «друг» так «друг», удобный, в общем-то, ответ. В наше время ни к чему не обязывает.

Жуан передал Юльке второе фото, глянул на третье, и его брови поползли вверх. Он поймал Юлькин взгляд, и вид у «Дона» был недоверчиво-смешливый, как будто ему вдруг стало что-то ясно, но он ещё не мог убедить себя в собственной догадке.

Второе фото отличалось от первого только одним: составом персонажей. Рядом с индусом стоял какой-то высокий улыбчивый парень, на вид не то американец, не то австралиец.

Юлька уже без слов вопросительно взглянула на пришельца:

– Тоже друг, – подтвердил индус.

На других фотографиях, «на том же месте в тот же час», улыбались – кто залихватски, кто смущённо – десятки разномастных лиц, от табунка хрупких корейцев до раздобревших седых американских пар, от грудастых африканских женщин до тощих альбиносов-северян. И рядом с ними на каждом фото стоял неприметный, как призрак, маленький человек в дешёвых сандалиях на босу ногу.

В молчании они долистали пухлую пачку. Юлия, смотревшая фото последней, с полупоклоном отдала владельцу его драгоценную коллекцию.

– Спасибо, – выдавила она из себя, внимательней вглядываясь в это лицо.

– Жалко, что у меня сейчас камеры нет, – покачал головой странный знакомый. – Я бы очень хотел с вами тоже сфотографироваться.

– Ну, ничего, – утешила его Юлька. – Вы же часто здесь бываете, и мы тоже, так что как-нибудь ещё сфотографируемся.

Индус с улыбкой покивал, не то соглашаясь, не то по привычке.

– Вы извините, нам пора – поздно уже, – наконец, решился «Дон Жуан».

Они простились и медленно пошли по набережной.

Оглянувшись, Юля увидела неподвижную тощую фигурку в неприметно-серых одеждах.

Призрак стоял, опершись на серебристые перила, и смотрел на огоньки в воде. В руке он всё ещё сжимал своё главное богатство: пачку «друзей».

– Вот это да, – выдохнула Юлька после долгого молчания.

– А что, в общем-то, он ничем не отличается от нас, – сказал Жуан. – Каждый борется с одиночеством, как может. Считай, что это у него – портативный счёт какого-нибудь «Фейсбука», куда тысячи одиноких людей записывают сотни абсолютно ненужных им чужаков. Зато откроешь – сердце радуется: у тебя, оказывается, 699 друзей. Вот и его греет та стопочка фотографий.

Жуан обнял Юльку за плечи, и они пошли дальше, две фигурки в непролазной гуще духоты и ещё чего-то, невидимого, но отчётливо различимого. Одиночество.

Оно висело над Дубаем, как душное облако песчаного бурана.

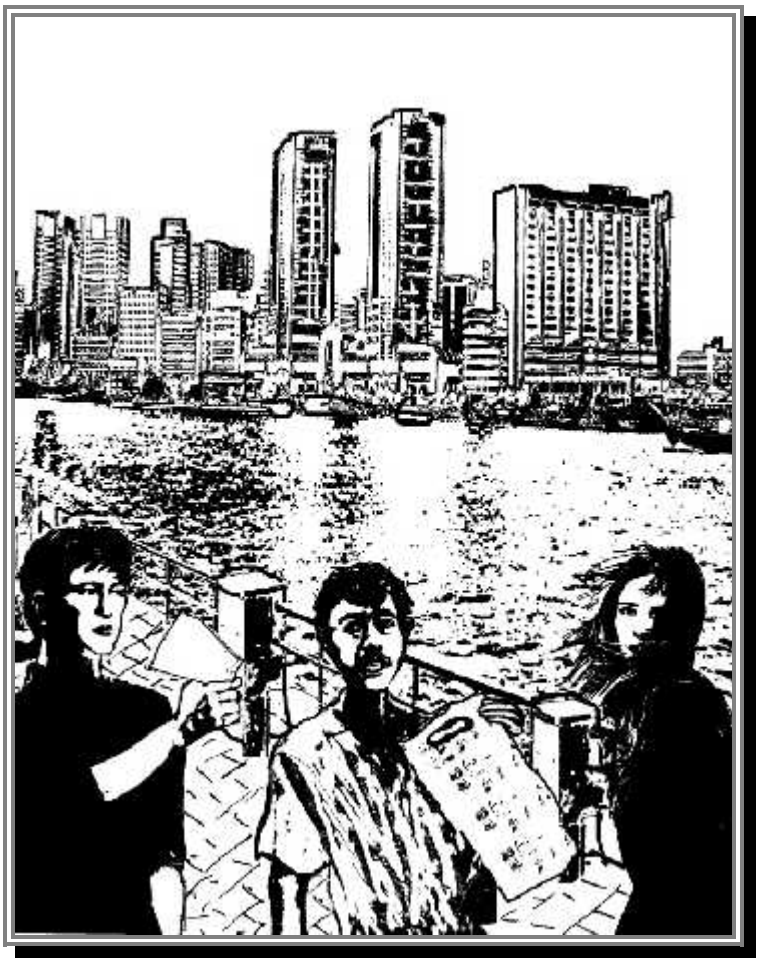
Оно заполняло людьми бары, и каждый в толпе, поцеживая напиток, чуть подёргиваясь под музыку, вертел головой, как будто постоянно ожидая: вот-вот, сейчас, ещё чуть-чуть, ещё немножечко – и появится Тот Самый Человек. И тогда одиночество убежит, поджав хвост, расплавится в духовке дубайской ночи.

Хотя очень может быть, что в других городах оно тоже плелось по пятам, цепляя людей, как мух на булавочку. Просто в этом городе гигантоманий и чрезмерностей, даже одиночество стало чрезмерным.

Утонувшую в казуистике Юльку «Дон» довёл до самых дверей подъезда и незаметно глянул: не предложит ли подняться «на кофе»? Не предложила. Напрашиваться он не стал, а троекратно расцеловав в щёки, тихо, как бы для себя, прошелестел:

– Ну, значит, не судьба.

Он пошёл по безлюдным улицам в свою пустынную квартиру, а девушка поднялась в свою, уже любимую: совсем недавно там, к Юлькиному огромному восторгу, каким-то чудом поселилась прозрачная, робкая и одинокая ящерка-геккон.



Юрий Токунов. Ночное Свидание (графика)

5. ФОТОГРАФ

Человек шёл по берегу. Он был обвешан яркими игрушками. Под ними, на груди, скрывался фотоаппарат. Ещё был мегафон. Такой громкоговоритель, которым пользуются водные спасатели, чтоб поругивать заплывших за буйки. Мерзкая вещица и самонадеянная, но без неё, как оказалось, ничего не получается. Идёшь себе и идёшь, когда-никогда подбежит какой-нибудь малыш, привлечённый надувной собачкой или заморенным осликом. Ах, да, ещё был ослик. Он шёл рядом, то справа, то слева, ступая копытами по мокрому песку, не поднимая головы. Его глаз никогда не было видно из-под соломенной шляпы. Кстати, так даже лучше: а вдруг у него во взгляде – всё то, что чувствовал бы на его месте любой из нас. А так идёт себе ослик и молчит, только два уха торчат из прорезанных в шляпе дырок.

Так вот, о пользе мегафона. Надо время от времени останавливаться и кричать: «Кто желает сфотографироваться у моря, на ослике, с игрушками, хорошая память об отдыхе». Конечно, это не верх рекламного искусства и человек мог бы придумать что-нибудь получше и кричать с большим энтузиазмом, зазывая народ, как скоморохи на ярмарке. Но кричать он не любил. Поэтому, скороговоркой сказав своё «кто желает...», он ждал минуты две и, если никто не желал, шёл дальше. А вот уж кто точно не желал, так это ослик. Однако его мнения никто не спрашивал. А что, собственно, спрашивать? И так всё понятно. Кому хочется сажать себе на спину тяжёлых, разомлевших от солнца и безделья тёть? Дети – ещё ничего, как повезёт. Если не норовит дёрнуть за ухо или стукнуть пяткой по боку, то пусть сидит себе. Иногда ослика угощали. Он был не против, хотя от жары есть не хотелось. Но что-то жевать всегда приятно. Это занятие ослик любил. А вот идущему рядом почему-то никто в рот ничего не пихал. Может быть, потому, что он шёл на двух ногах, и до рта было высоко тянуться. Под копыта иногда бежали суетливые язычки волн. Песок – волны – песок – бетон волнореза – опять песок. Под соломенной шляпой с двумя торчащими ушами журчали мысли о студёной воде, хрустели мысли о свежей травке. Жевать лучше всего не спеша, полуприкрыв глаза и обязательно в тени. Чтобы не вспоминать про палящий пляж. Вот этот ведь, весь в ярких игрушках, пляж тоже не любит. А идёт. И сам идёт, и ослика тащит.

Ослик иногда пытался разгадать, что за тайна кроется в этих ежедневных вынужденных посещениях пляжа. Конечно, ослик, это деньги. Деньги эти небольшие, но в городе они совсем вывелись, и поймать их было практически невозможно.

А здесь они попадались, приманённые ярким видом игрушек, да и твоим, пусть даже понурым видом, ослик. А ещё разгадкой была маленькая девочка, там, в городе. И ещё одна, большая такая девочка, требовательная девочка. Тоже была маленькой, хрупкой, тихой и непритязательной. Время, ослик, время так всё меняет. Был, ослик, один поэт недавно. Написал он, ослик, много всего хорошего, да вот сейчас только две строчки из его *Современной были о рыбаке и рыбке* всё крутились в голове:

> ...не ведаю ныне, довольны ли душеньки ваши,
> ах, царицы мои, ах, дворянки мои столбовые!

Да, надо же опять. «Кто желает сфотографироваться на ослике, у моря, с яркими игрушками, замечательная память о проведённом отпуске».

А стихи человек любил. Даже сам писал. И хорошие стихи, да только в этой глуши ты пиши не пиши, только мыши в тиши гложут карандаши, хоть пиши не пиши, хоть дыши не дыши – ни огня, ни души в этой шумной глуши.

Да, глушь. Я, ослик, правда, пляж не люблю. Я северный, ослик, человек, и чёрт его знает, каким ветром, каким сошедшим с ума ураганом занесло меня на этот белый пляж, под это белое солнце, к этому до самовлюбленности блестящему морю. Я закрываю глаза – и вижу влажный мох у корней, бесконечную зелень леса, рыжего мохнатого пса, бегущего впереди…. Я оттуда, ослик, я вырван из мокрой, чёрной, веками накопленной почвы и посажен сюда, на выжженный пляж. Вырывали меня наспех – и часть моих корней осталась там, и я чувствую, как они болят.

Надо идти. «Кто желает сфотографироваться?» Надо идти, ослик, надо идти. В спину смотрит маленькая девочка. За спиной остаётся мой вековой лес. Впереди – выжженный песок, белое марево. Надо идти, ослик, надо идти.

*Использована цитата из Ю.Д. Левитанского.

Елена ДУБРОВИНА
Филадельфия, США

ОДИНОЧЕСТВО

Рассказ

От одиночества и от недоуменья
Здесь умерла душа…
Георгий Адамович

Историю эту, случившуюся в октябре 1935 года, долго передавали из уст в уста. Слухи ходили самые разные и невероятные – русский Париж был потрясен неожиданной и странной смертью молодого русского поэта. Никто не знал подробностей его смерти. Одни говорили, что это было самоубийство, другие – убийство или случайная смерть. Было много версий, догадок и предположений. Однако газеты писали, что был он отравлен чрезмерной дозой наркотиков каким-то проходимцем, который побоялся умирать в одиночку, и потому прихватил с собой Артура Яблонского. Почти во всех парижский газетах на следующий день был напечатан его портрет в траурной рамке с подробным и в то же время неясным описанием его гибели. Смерть молодого поэта оставалась для его друзей такой же загадочной и таинственной, как его жизнь и его поэзия.

Его нашли рано утром в маленьком магазине женской одежды, который принадлежал его матери. В комнате стоял странный запах дешевых французских духов и смерти. Он лежал в небольшой полутемной комнате, густо увешанной дорогими модными платьями. Умер он, вероятно, во сне, повернувшись лицом к стене. Ушел из жизни большой поэт, ушел в тот неизвестный, фантастический мир, в тот сон или полусон, в котором он пребывал все последнее время, ни с кем не попрощавшись, но оставив после себя черную, глубокую пропасть, наполненную до краев тайнописью его видений, одиночеством, нищетой.

В день похорон Артура Яблонского стоял холодный осенний день. Серое небо тяжело нависло над городом. Осенний мелкий дождь монотонно накрапывал, отбивая на крышах какую-то грустную, прощальную мелодию. В глубоких лужах копошились мятые желтые листья. Узкая улица бедного парижского квартала была запружена любопытными – люди приходили со всех уголков Парижа. А в конце ее, в небольшой русской церкви с бледными цветными

стеклами было необычайно многолюдно – ведь в этот холодный октябрьский день отпевали великого русского поэта.

Кроме тех, кто знал Артура Яблонского, было много любопытных, неизбежно посещавших всевозможные похороны и панихиды. Люди стояли тихо, только иногда доносились женские всхлипывания и редкий шепот сочувствующих. Едва мерцали в руках дешевые французские свечи, капал на пол горячий воск. Шум осеннего дождя доносился сквозь открытую дверь. Панихида была долгой. Выступали друзья и просто знакомые. Кто-то прочитал строки из его стихотворения:

И уже над бездной в пустоту
Зазывает смерть своих прохожих,
Занимайте место, лучше в ложе!
Пляшет дождь со смертью на мосту.
И из серой тучи в небе мрачном
Призывает нас к себе Господь.
В мир иной зовет живую плоть
Жизни, что прожили неудачно,
На пороге смерти, нет, не плача,
С будущим играя, будто в мяч,
Посмотрев на мир теперь иначе,
На иную вечность променять.

Артур Яблонский не дожил до зимы. Через неделю ему должно было исполниться тридцать лет.

– Сегодня мы потеряли друга, а Россия и эмиграция – великого поэта. Он погиб слишком рано, так и не успев до конца раскрыть свой талант, свое видение и философское понимание мира. Трагедия поэта заключается в безысходности, изоляции, одиночестве на чужой земле. Вся русская эмиграция плачет сегодня вместе с нами о рано ушедшем из жизни большом русском поэте, – закончил свою речь последний из выступающих.

* * * * *

Мона одиноко стояла недалеко от гроба, в стороне от толпы, загипнотизированная словами его друзей, отдающих дань его жизни и его поэзии. Они открывали ей мир его загадочной, так глубоко страдавшей души. Она внимательно слушала речи выступающих, думая о нем и вспоминая то короткое, и счастливое время, которое было даровано им Богом и судьбой.

Его хоронили на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Октябрьские парижские дожди оплакивали в эту ночь нищего парижского скитальца и великого русского поэта…

* * * * *

Друзья всегда удивлялись, почему даже ночью Артур Яблонский носил темные очки. Он всегда выделялся среди других своей незаурядной внешностью и умом. Был он высок, широк в плечах, по которым рассыпались длинные темные волосы. Он был остер на язык, прекрасно образован, и его остроумные замечания часто передавались из уст в уста.

Конец сентября в тот год в Париже был необычно жарким. Влажный воздух обволакивал пеленой, мешая видеть, думать. Артур не мог прожить дня, чтобы не размышлять о цели жизни, смысле своего существования. Он видел мир не только глазами, но и сердцем. Все образы, переполнявшие душу, он наносил на бумагу. Они выливались в строчки стихов – эмоциональные, глубокие, существующие вне реальности, как бы продиктованные невидимой рукой Всевышнего.

В этой шумной ночной суматохе
Ни души, только пуля насквозь.
И танцуют слепцы-скоморохи
На платформе в скрипучий мороз.
И цветы неживые на клумбах,
Чтобы их нелюбимым дарить.
Сколько было их, нищих Колумбов,
Не умеющих смерть победить!

В воздухе еще чувствовалась жара, но с реки уже потянуло прохладой. Стало легче дышать. Жизнь его проходила монотонно в ночных прогулках по городу, в раздумьях о своем земном существовании, о цели его, о смерти. Несколько раз он навещал друзей в Ницце, но путешествие стоило денег, которые появлялись у него редко.

Последнее время он много гулял вдоль Сены, восхищаясь красотой узких средневековых улиц. Вечером он шел той же дорогой на Монпарнас, в кафе Ротонда – центр артистического и интеллектуального мира – для того, чтобы пообедать и пофилософствовать с друзьями-поэтами. И, несмотря на то, что красота Парижа вдохновила многих поэтов и писателей, художников и музыкантов, архитектура города его не вдохновляла. Он был одинок, изолирован, замкнут в своем собственном мире, внутреннем одиночестве.

Артур Яблонский устал от каждодневной борьбы за выживание, от нищеты, от бесконечного поиска своего собственного «я». Он был русским поэтом без родины, без дома, без любви, забытым на родной земле и не принятым на чужой.

Материальное неблагополучие, точнее сказать, полнейшая нищета, внутренний, глубокий разлад с действительностью, богатство его духовного, внутреннего мира и убожество внешнего, непонимание со стороны многих друзей и родных, отсутствие слушателя, сложность и стихийность его многогранной и одаренной натуры – делали его изгоем, лишним человеком. Невыносимость бытия духовного и материального заставляли его погружаться глубоко в себя, делали замкнутым и отдаленным. А в стихах – предельная обнаженность, крик потерянного до отчаяния человека:

Есть только миг, но как преодолеть
И как увидеть вечность в пустоте,
Как жить и быть, не отвергая смерть,
И ждать восхода на пути к Тебе.

Под ногами не было реальной почвы, жизнь и сон сливались в одну долгую бессмысленную вечность, без будущего, без настоящего. Оставалось только прошлое, туманные воспоминания о России, о счастливом детстве, но и эта память со временем бледнела, гасла, как вспышка, как отражения ночных фонарей.

Кафе Ротонда в тот вечер еще было полупустым, и ему без труда удалось найти столик у окна. Артур оглядел зал. Было несколько знакомых лиц – в углу, напротив, сидел известный художник-экспрессионист рядом с молодой полной дамой, попавшей сюда, вероятно, впервые. Пара молодых людей что-то бурно обсуждала за чашкой кофе. Артур быстро просмотрел меню, но молодой официант долго не подходил. Наконец, он заказал свой обычный дешевый обед – луковый суп и кусочек жареного цыпленка.

Постепенно зал стал наполняться завсегдатаями. Сегодня кафе было переполнено русской литературной элитой и русскими аристократами, как всегда громко обсуждавших текущие события в России и новые сведения об убийстве царской семьи. Только теперь начали они понимать невозможность возвращения. Артур внимательно прислушивался к разговору за соседним столиком – обсуждали философский трактат Бердяева «О самоубийстве». Тема была интересной и волнующей. В последнее время в Париже участились случаи самоубийства среди эмигрантов.

Артур в разговор не вступал, была какая-то апатия, безразличие к происходящему вокруг. Он заканчивал свой обед в одиночестве, допивая чашку крепкого кофе и прислушиваясь к разговорам за соседним столиком, когда перед ним появился красивый молодой человек в больших очках и вьющимися темными волосами. Они дружески поздоровались.

Молодой человек был его хорошим знакомым, бедствующим поэтом, который, как и Артур, искал свою правду в этом чужом и жестоком мире. Они часто уходили из кафе вместе, дискуссируя и философствуя о смысле жизни. Стефан, так звали его знакомого, никогда не был оптимистом, и выживание в этом незнакомом мире стало для него настоящей трагедией. Ребенком его оставили родители на попечение бабушки. Совсем недавно они перебрались из Софии в Париж, где родилась бабушка. Стефан свободно говорил по-русски и по-французски. У него была тонкая отзывчивая душа поэта, и он видел в Артуре такого же неприкаянного чужестранца, как и он сам. Стефан боготворил Артура.

– Привет, Артур. Где ты пропадал? Я тебя ищу с воскресенья. О тебе здесь кто-то спрашивал, молодая дама, наверное, одна из твоих поклонниц. О, между прочим, она должна быть сегодня здесь. Подожди меня.

И не давая ему возможности ответить, исчез из виду. Он долго не возвращался, и Артур уже направлялся к выходу, когда молодой человек снова его окликнул. Артур почувствовал на своей спине чей-то пристальный взгляд и обернулся. Рядом со Стефаном стояла привлекательная женщина, на вид лет около сорока. Без колебания, она смело протянула ему руку.

– Меня зовут Мона, – она говорила на чистом русском языке, хотя и выглядела настоящей француженкой – с короткой стрижкой, на высоких каблуках и облегающей модной длинной юбке. Яркий шелковый шарф обвивал ее шею. Лицо Моны освещала радостная улыбка.

Он внимательно разглядывал ее сквозь темные очки – женщина действительно была прехорошенькая. Она, не замечая его пристального взгляда, продолжала говорить:

– Дело в том, что я ваша кузина. Возможно, вы никогда обо мне не слышали. Вы жили в Санкт-Петербурге, а я жила в Риге. Я дочь брата вашего отца. Они много лет не разговаривали. После смерти моих родителей я приехала в Париж к моей тете по линии мамы. Когда я первый раз пришла в это кафе, я слышала, как кто-то читал ваши стихи и, таким образом, я узнала ваше имя. Я так счастлива встретить здесь, на чужой земле, родную душу. Так счастлива!

Мона повторила «счастлива» несколько раз, и, взяв его за руку, потянула к выходу на улицу. Он был озадачен этой неожиданной встречей и рад ей в то же время. Артур не знал, как выразить ей свою благодарность за то, что она разыскала его в этом огромном чуждом ему мире. Наконец, почувствовав неловкость своего молчания, он заговорил:

– Мона, Мона…. Какое редкое имя. Почему Мона? Я тоже очень рад, что я нашел свою кузину, которую не видел с детства. А вы действительно моя кузина?

– Теперь, – думал он, – мы будем гулять вдвоем по моим любимым парижским улицам, и у меня будет и слушатель, и собеседник, и настоящий ценитель поэзии. Так рассуждал он про себя, продолжая внимательно изучать ее выразительное лицо.

– Чем же вы занимаетесь целыми днями? Это лето было такое жаркое. Могу я проводить вас до дому? – сказал он и посмотрел на нее сквозь очки, мягко улыбнувшись.

– Сколько же ей лет? – думал он, все так же продолжая ее разглядывать, – Наверное, сорок, а может быть, и больше, но это не имеет никакого значения. Может быть, теперь это будет одиночество вдвоем.

– Вы спросили меня, почему меня назвали Моной. Это сокращение от Дездемоны. Но, пожалуйста, продолжайте звать меня Моной. Я люблю Шекспира, но терпеть не могу свое имя. Я ненавижу трагические концовки, ни в литературе, ни в жизни. Я не могу думать о смерти. Я ее панически боюсь. Однако я заметила, что в вашей поэзии вы часто обращаетесь к смерти, как к единственному пути спасения от нашей нищенской жизни и страданий. Ваша предрасположенность к смерти меня пугает.

Вы действительно думаете, что смерть есть единственный выход из страданий? Мы все, сознательно или несознательно, имеем в жизни какую-то цель, которую мы стремимся постичь. Трагедия же заключается в том, что мы часто стремимся к вещам, которые для нас недоступны, выше наших сил и обстоятельств, в которые мы попали. Тем не менее, это не значит, что мы должны перестать желать и не иметь в жизни цели. Но думать о смерти, как о единственном избавлении от страданий? Я всегда считала, что есть другие средства преодоления трудностей. Я считаю вас человеком очень сильным. Так почему же тема смерти так часто звучит в ваших стихах?

Она серьезно на него посмотрела, но он только слабо улыбнулся ей в ответ, и, стараясь подобрать правильные слова, заговорил:

– Моя дорогая Мона, многие сейчас видят смерть, как единственное спасение, единственный выход из мрачного лабиринта, в котором мы сейчас находимся. Возращение в Россию, домой – это иллюзия. Жить здесь, на чужой земле – это нищета и страдание. В этом и заключается наша сегодняшняя трагедия – трагедия творческого человека на чужой земле. Мы живем в вакууме и пишем в пустоту – нет читателя, нет слушателя.

Мона задумалась. Она была еще слишком молода и полна жизни, чтобы думать о смерти.

Стало прохладно, черная ночная тень накрыла дома, и улицы постепенно опустели. Мона жила недалеко от него со своей престарелой тетей и собакой.

В течение дня она рисовала, а вечером гуляла с собакой по опустевшим улицам Парижа. Это была ее обязанность – прогуливать на ночь собаку.

– Вы рисуете?

Он был приятно удивлен.

– Вы действительно художница?

– О, нет. Это звучит слишком громко. Я просто любитель, никогда не училась живописи, но моя жизнь без этого была бы пуста. Дело в том, что я недавно потеряла мужа, он очень болел. Я думала, что переезд в Париж ему как-то поможет. Я не смогла его спасти. Не смогла. Но не смотрите на меня с таким сожалением. Он был очень хорошим и добрым человеком, намного меня старше. Мы были большие друзья, но я никогда его не любила, хотя я очень уважала и его, и его работу. В Риге он был архитектором, талантливым архитектором. Там у него была жизнь. Теперь я не хочу туда возвращаться. Я рассказываю вам все это только потому, что вы мой кузин.

И внезапно осознав, что она слишком много говорит, замолчала.

– Пожалуйста, продолжайте, ничего от меня не скрывайте. Так значит у вас, кроме меня, нет других родственников в Париже. Так? Я прав?

– Почти правы. Вы забыли упомянуть мою тетю. Но, пожалуйста, снимите ваши темные очки. Я хочу увидеть ваши глаза, хотя бы один раз. Мне так, в очках, трудно с вами говорить. Можно я их сниму? И она протянула руку, чтобы их снять. Он перехватил ее руку выше локтя и почувствовал ее прохладную, нежную кожу.

– Только один раз, и только для вас.

Смеясь, он снял очки и посмотрел на Мону. Они остановились лицом к лицу под уличным фонарем. Полоса света падала на его бледное красивое лицо.

– О, Боже! Ваши глаза светло-зеленого цвета, почти, как и мои. Почему вы носите очки ночью?

– Почему? – улыбнулся он. – Наверное, потому, что я хочу выглядеть таинственным и неузнаваемым, или даже невидимым. Он сузил глаза, будто бы стараясь лучше ее рассмотреть.

– Но получается-то совсем наоборот – каждый вас заметит и запомнит потому, что вы единственный человек, который носит ночью темные очки, – заключила она, все еще не сводя глаз с его лица, как бы стараясь лучше его запомнить.

Они оба рассмеялись, и он снова надел очки. И только теперь она поняла, что он был близорук, и это была его единственная пара. Она ничего ему не сказала, и умело перевела тему на его поэзию.

– Я знаю ваши многие стихи наизусть. Она снова взглянула на него, чтобы увидеть его реакцию. Он был искренне удивлен.

– Это мое любимое, – сказала она и стала читать:

Из царства Киммерийского плывет
такой тоской зеленый полусвет.
В игре теней дробится звездно лед.
Под мертвым солнцем – черный мертвый свод,
и белизна неосвещенных лиц,
полутонов безликих карнавал.
И солнце мертвое – чернеющий опал
в овале провалившихся глазниц.

И только ветер то легко, то круто
Швыряет мглу из черной пасти утра...

Она закончила читать, и опустила голову, боясь на него взглянуть.

– Я не помню своих стихов наизусть. И почему вы выучили именно это стихотворение? Чем тронула вас тема мертвого солнца?

– Прежде всего, меня поразила сама идея мира, в котором нет света и солнца, когда вся жизнь проходила бы в полной темноте.
Означает ли это, что вся радость нашего существования может погрузиться во тьму, и наше жизнь станет такой же мрачной, как сама ночь? Что же такое наше счастье? Может быть, это свет вокруг и внутри нас самих, тот свет, которым мы обмениваемся друг с другом, поток позитивной энергии. Мертвое солнце… Я не могу себе этого представить. Это так страшно.

Она на секунду задумалась, а потом продолжала:

– Помните, что писал Кант. Наш мир существует таким, как мы его видим, и только когда мы видим его, он существует. Когда мы отворачиваемся от него, он исчезает. Значит ли это, что мир существует только в нашем сознании? Трудно представить жизнь в темном пространстве, когда ты ничего не видишь вокруг себя, когда ничего нет ни вокруг, ни внутри – ночь и вакуум. Я не могу себе это даже вообразить.

– Мона, к сожалению, здесь нас окружает темнота, мы живем в пустоте, люди без родины, без твердой почвы под ногами, без родных и друзей, мы живем не в материальном мире, а именно в вакууме. Ты хочешь опереться на дружескую руку, а твоя рука погружается в пустоту. Да, у нас есть небольшой круг друзей, но каждый борется за свое собственное выживание.

Он на минуту погрузился в молчание, а затем прочитал строки своих стихов.

Боюсь проснуться в одиночестве –
Цветных обоев желтизна,
край облака, углов отточенность,
окно и книги – жизнь моя.

Они подошли к ее дому. Это был старый кирпичный дом с широкими окнами, выходящими на узкую средневековую улицу. Оба остановились, не зная, что сказать. Он заговорил первым:

– Я рад, что вы нашли меня, Мона. Теперь наши души навеки соединены. Может быть, эта встреча поможет нам преодолеть одиночество, и все, что раньше казалось таким ненужным и ничтожным, приобретет смысл. Хотите встретиться снова, скажем, завтра?

Улыбаясь, он посмотрел на нее в ожидании ответа.

– Да, конечно же, я хочу вас снова увидеть, Артур. Мы можем вместе прогуливать мою собаку. Я уверена – она вас полюбит. А потом…

– А потом мы пообедаем где-нибудь в маленьком тихом ресторанчике. Я знаю один такой, недалеко отсюда, – прервал он ее.

И поцеловав ее в щеку, зашагал к дому.

Артур медленно шел домой по улицам спящего города. Была странная таинственная тишина. На небе одинокий месяц низко свисал над городом, ярко освещая пустынную ночную улицу, и новые строчки стихов бессознательно складывались в его голове: «Месяц к точке вселенной прирос наугад, словно к нему пристал золотой леденец». В ночном воздухе он слышал музыку и ощущал эту легкую мелодию тишины, и тихую мелодию счастья.

– Любовь – думал он, – это источник энергии и источник эмоций, которые вдохновляют нас на великие дела. Кто же побеждает в этой борьбе за жизнь – любовь или смерть?

Ему хотелось скорее вернуться домой и сесть за свою печатную машинку. Новые строчки уже просились на бумагу. «Мона, Мона, Мона…». Ее имя звучало как музыка, как дивная мелодия счастья: «Мона, Мона, Мона…».

* * * * *

Артур жил поэзией. Поэзия была для него способом самовыражения. Она была для него раем, домом для его души. В этом доме он чувствовал себя счастливым – он мог открыться, философствовать о жизни. Большую часть времени он жил и разговаривал с самим собой, в полной изоляции от внешнего мира – это было время творчества, когда он погружался в глубину своих мыслей и чувств. Несоответствие между богатством его внутреннего мира и нищетой его существования, полное непонимание его близкими друзьями делали его замкнутым и отрешенным от того мира, где ему пришлось существовать.

Стихи Артура были необычны, похожи на сон или бред, бормотания, одурманенного образами и стихией человека. Его поэзия отличалась от поэзии его соотечественников странными искаженными образами, обилием красок, философичностью, глубиной и трагизмом его мировосприятия. Все свои мысли он записывал в дневник, который никогда и никому не показывал.

Мысли о смерти не давали ему покоя. Но, вернувшись домой после встречи с Моной, он впервые записал в своем дневнике: «Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Я встретил Мону. В глубине души я знаю, что она именно та женщина, которую я искал – мы видим и чувствуем мир вокруг нас, как один человек, две родственные души, затерянные и забытые в этом огромном, бездушном мире. Сегодня первый день в моей жизни, когда я не думал о смерти, как единственном выходе из моего жалкого существования. И все же, я чувствую, я боюсь, что уже ничего не может сделать меня счастливым. Смерть – это полет в неизвестность, поиск другого, лучшего мира. То же и Бог. Я понимаю его, его сострадание к тем, кто страдает, потому что он сам глубоко страдал. Как может он нам помочь? Но, может быть, Мона принесет в мою жизнь тот недостающий мне свет, поможет мне уйти от постоянных мыслей о тщетности моего жалкого существования. Я не должен больше принимать наркотики, которые помогают мне на какое-то время забыться, погрузиться в сон, иллюзорную нереальность». Затем он добавил несколь-

ко новых строчек стихов, только что сложившихся у него в голове:

Осенняя дорога струилась прямо к небу,
От дыма сигарет зачах на ветке дрозд.
Безжизненное солнце покрыто было снегом,
К обледеневшей туче последний луч прирос…

Поникли на дворе вчерашние гвоздики,
На клумбе увядал какой-то старый куст.
И тени на стене – бесцветны и безлики,
А мир вокруг – безумен, страшен, пуст…

Артур закрыл дневник и убрал его в ящик стола. Потом долго ворочался в кровати – не мог уснуть, строчки стихов наводняли, формировались новые мистические образы жизни и смерти, вспомнился город, где он родился и вырос:

А над Невой серебром
Лунные диски дробятся,
Словно распято на пяльцах
Небо под острым углом.

Звезды летят в водопад,
Свет фонаря вечереет,
Город в молчанье немеет.
Скрипки звучат невпопад…

Легкая тень из глубин
В облачном небе струится.
Мир искаженный снится
В тонкой сети паутин…

Он видел Мону, излучающую такой яркий свет, который прорезал темноту и протягивал к нему свои тонкие искрящиеся лучи. Он ощущал их тепло, и его наполняло чувство радости. Он уснул только тогда, когда первые солнечные блики заиграли на оконном стекле, пробиваясь через темные плотные занавески.

Когда Артур проснулся, окно почему-то оказалось открытым, и он почувствовал поток холодного осеннего воздуха. Осень… подумал он. Первый день октября. Его мать уже ушла в свой бутик. Горячий завтрак ждал его на кухонном столе. Для матери он все еще был маленьким ребенком. Ей хотелось, чтобы он вовремя поел и хорошо высыпался, и это было ее главной заботой, но она не видела и не понимала, что его метущаяся душа искала покоя.

Артур лениво потянулся и сбросил одеяло. Завтракать он не стал, а только выпил стакан холодного молока и тут же вернулся к печатной машинке. Но прежде чем писать, ему вдруг захотелось пролистать старый альбом с видами Санкт-Петербурга. Это была его любимая книга, та дорога, которая вела его в город, где прошло его счастливое детство. На 26-ой странице была фотография Невского проспекта. Здесь часто гулял он со своим отцом, расстрелянным большевиками. Там, вдали виднелось здание, где жила его большая и дружная семья. «Как давно это было», – думал он, листая глянцевые страницы альбома. И новые строки стихов уже слагались у него в голове, и он поспешно заносил их на бумагу:

… Утро в чайнике остыло…
Разноцветные осколки
Улеглись на пыльной полке
Отголосками сознанья
Из страны «Воспоминанья».

Его поэзия шла из самой глубины его сердца с потоком невыносимой боли, и только закончив писать, он чувствовал, как медленно утихала эта боль.

Иногда ему казалось, что это не он писал стихи, а какая-то невидимая рука водила его пером, рисуя на бумаге незнакомые слова.

К тому времени, когда он закончил писать, солнце уже ушло за горизонт, но странная красная подсветка еще окрашивала темнеющее небо. Неожиданная мысль о том, что он скоро увидит Мону, наполнила его радостным, давно забытым чувством ожидания встречи с любимой женщиной.

* * * * *

Артур долго звонил в дверной звонок, до тех пор, пока Мона не открыла дверь. Она была одета в простое белое платье, на плечи накинута русская цветная шаль. Длинные темные волосы были перехвачены лентой и обрамляли ее прекрасное бледное лицо. Когда она увидела Артура, счастливая улыбка осветила его.

– Я думала, что вы обо мне забыли и никогда не придете. Я уже и собаку прогуляла без вас. Вы пропустили самую приятную часть нашего вечера.

Он услышал, как наверху залаяла собака, как бы в подтверждение ее слов.

– А не могли бы вы меня ей представить? Я уверен, что мы стали бы друзьями, – спросил Артур, смеясь.

– Как наказание за ваше опоздание, я отвечу на ваше предложение отрицательно. И, между прочим, я еще не обедала.

Она посмотрела на него с укоризной.

– Я тоже. Как раз время.

И взяв ее за руку, он поспешил в том направлении, где находился ресторан.

Прохожих на улице было мало. Солнечная подсветка давно исчезла, и вместо нее на черном небе появился огромный янтарный шар, излучающий на землю тончайшие серебряные нити. Луна дружески им улыбалась, а лунная дорожка расстилалась перед ними, как путь к другому, лучшему будущему.

Русский ресторан назывался «Ностальгия» и принадлежал бывшему генералу Белой армии и его жене. Хозяева рестораны были приветливы и дружелюбны, они знали Артура и высоко ценили его поэзию. Ресторан был небольшим и очень уютным. На стенах, выкрашенных в красный цвет, что придавало ему особую праздничность, были развешаны картины известных художников русского Зарубежья, тех, кто жили от продажи своих работ.

– Это же шедевры, настоящие произведения искусства! – воскликнула Мона, обводя глазами стены.

Яркие картины, написанные масляными красками, изображали природу России – тонкие, изящные березы вдоль проселочных дорог, темно-синие извилистые реки с крутыми берегами, плывущие вдаль, в черную неизвестность – все это вызывало ностальгические чувства, тоску по утерянной родине.

Столы в ресторане были накрыты белыми накрахмаленными скатертями с одной красной розой посредине в маленьком хрустальном стакане. Горели свечи. Но самой достопримечательной чертой ресторана было его меню, которое включало русский борщ, грибной суп с перловой крупой, солянку, пельмени, блины с красной икрой и цыплят-табака.

Они закали грибной суп и котлеты в белом соусе. В ресторане было полупусто. В противоположном углу обедали еще две пары, но они были поглощены своими собственными проблемами и не обращали на Мону и Артура никакого внимания. А им казалось, что были они одни на этом маленьком острове, так напоминающим им о прошлом. Он не мог отвести глаз от Моны. Она была счастлива, от нее исходил какой-то дивный свет, и она говорила без умолку.

– Артур, разве это грех? Мне кажется, что я теряю голов у, находясь с тобой рядом, – теперь они уже перешли на «ты» – я ведь намного тебя старше. Но разве это имеет значение, когда любишь, когда чувствуешь родную душу? О, наверное, мне не стоило этого говорить. Так ведь, Артур? Ты мой кузин, мой родственник, но сейчас все это не имеет никакого значения, когда две души, затерянные и одинокие в этом огромном мире, нашли друг друга и счастливы. Ты счастлив, Артур?

Она протянула к нему руку. Он накрыл ее маленькую ладошку своей рукой.

– За всю свою жизнь в Париже я никогда не чувствовал себя счастливее. Ты, как луч солнца, который осветил мою мрачную жизнь. Бог услышал мои молитвы, Мона. Ты – подарок судьбы. И ты права, совсем неважно, сколько нам лет, как мы выглядим. Единственное, что сейчас важно, это то, что мы чувствуем и как мы друг друга понимаем. Последнее время я часто думал о бесцельности своего существования. Я видел только тьму и холод, а ты принесла в мою жизнь свет и тепло.

Он взял ее руку в свою и нежно поцеловал. Они заканчивали обед. Свеча еще горела на столике, и желтые блики ее отражались на их счастливых лицах. Пришло время закрывать ресторан, и они покинули это гостеприимное место, крепко взявшись за руки, с переполненными от счастья сердцами.

Ночь была тихая и безветренная. Воздух был наполнен первыми запахами осенних опадающих листьев. Впервые он почувствовал гармонию – на душе и в сердце его царил покой.

Мона излучала вокруг себя любовь, и он с благодарностью принимал этот поток позитивной, искрящейся энергии, которой ему так недоставало.

Они шли вдоль Сены. Чувство нирваны охватило все его существо – никогда еще не было ему так хорошо и так спокойно. Ему хотелось держать ее в своих объятьях и целовать, целовать всю ночь, до самого рассвета, но он боялся обидеть ее своей нетерпимостью. Неожиданно она остановилась и повернула к нему свое разгоряченное лицо.

– Поцелуй меня, Артур, – сказала она просто, – разве это не то, что тебе сейчас хочется…?

И приподнявшись, она обвила руками его шею. Он опустил голову, дотронулся губами до ее губ…. Эту ночь они провели вместе в маленьком дешевом отеле и проснулись одновременно, рано утром. Ощущение жизни было ярким и светлым. Темные тона исчезли, перешли из ночных в солнечные утренние краски. Любовь изменила их бесцельное существование – теперь оно имело смысл. Они оба обладали сейчас той силой, которая могла изменить их жизнь, сделать ее счастливой.

* * * * *

Был уже поздний вечер, когда Артур возвращался домой. Все вокруг него пело, осенний прохладный воздух был наполнен радостными музыкальными аккордами, и луна, круглая и веселая, улыбалась ему издалека своей магической, яркой улыбкой, распыляя вокруг него таинственный серебряный свет. Он не мог отвести от нее взгляд. Она сияла над ним и притягивала к себе, как магнит, а может быть, это была другая планета, где жили другие, счастливые люди, куда и он, и Мона, когда-нибудь попадут.

– Может быть, это была та планета, где их души найдут мир и покой, – так размышлял он, наступая на осенние лужи, в которых копошились, как бабочки, первые желтые листья.

Приближаясь к дому, он заметил при бледном свете луны одинокую фигуру мужчины. Сердце его почти остановилось в предчувствии чего-то непостижимого, страшного, что могло произойти.

– О, Господи, только не сегодня, пожалуйста, только не сегодня…, – прошептал он в ночь.

– Почему ты разговариваешь сам с собой?

Артур услышал рядом знакомый голос Стефана. Его лицо под желтыми лучами луны было искажено болью.

– Он опять принимал наркотики, – промелькнуло в голове Артура, и его охватила паника.

– Послушай, Стефан, – он обнял товарища за плечи, – почему ты снова это сделал, ведь ты обещал. Мы дали друг другу слово. Ты слышишь меня? Ведь ты же мне обещал!!!

Безразличное выражение на лице Стефана не изменилось. Теперь Артур уже почти на него кричал, волоча его к магазину матери. Он не мог втащить его наверх, в квартиру, и потому, открыв неподатливую дверь, втолкнул его в темную комнату магазина модной одежды.

– Артур, ты напрасно меня ругаешь, я не принимал сегодня никаких наркотиков. Поверь мне. У меня просто случилась большая беда – умерла бабушка. Я ищу тебя повсюду. Ты единственный близкий человек, который у меня остался. Мне больше не с кем разделить свое горе, – как в агонии лепетал Стефан.

Он схватил Артура за руку и потянул его в глубину темной комнаты, рыдая, словно беспомощный ребенок. Сердце Артура наполнилось болью и жалостью к другу. Стефан на минуту перестал плакать.

– Артур, я должен принять сегодня хоть маленькую горстку героина. Я должен усмирить эту невыносимую боль, забыться. Ты должен мне помочь. Я не могу делать это в одиночку. Пожалуйста, Артур, помоги! Обещаю, что мы делаем это в последний раз. Я умоляю тебя, сделай это со мной и для меня, один последний раз. Моя бабушка была мне единственным дорогим человеком. Я чувствую себя таким несчастным, таким одиноким. Я не могу больше так жить! Ты слышишь меня, Артур? Почему ты мне не отвечаешь? Только один последний раз, помоги! Ты мой единственный друг, помоги мне перестать чувствовать эту невыносимую боль! Помоги мне, Артур!

Его прерывистая речь была речью больного и глубоко несчастного человека. Артур минуту стоял в нерешительности, а затем протянул руку, чтобы получить свою долю героина. Это все, что мог сделать в этот момент, чтобы облегчить страдания друга, помочь ему уйти от реальности в мир иллюзий и сна, забыть свое горе, смерть близкого человека, нескончаемое одиночество, перестать жить и страдать.

– Я делаю это в последний раз, – думал Артур, теряя поток мыслей, – Мона, Мона…. Неожиданно произнес он в отчаянии имя любимой, погружаясь в глубокий сон, и теряя сознание…

Позднее, местные газеты описали новые подробности гибели двух поэтов – их тела были найдены на следующее утро на полу маленького магазина модной одежды в бедном районе русского Парижа. Не было никаких признаков борьбы. Следы белой пудры были найдены на полу возле их тел. Было очевидно, что они приняли высокую дозу наркотиков. Французская полиция допросила молодую женщину, с кем Артур провел последние часы жизни. Они пришли к выводу, что товарищ его побоялся умирать в одиночку и уговорил Артура сопровождать его в этом странном путешествии в другой, мистический мир…

* * * * *

Закончилась церковная панихида и процессия направилась на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, где тело его должно было быть предано земле. Мона стояла в толпе провожающих и думала о том, могла ли она спасти его своей любовью, или смерть его уже была предрешена судьбой. Она вспомнила строки его стихов:

И в сон погружаясь, последний, навечно,
Я вспышкою молний блесну над закатом,
И тихо уйду в бесконечность, наверно,
Как будто прощенным, и все ж виноватым…

Черная ночь опустилась над Парижем, над спящим бедным русским кварталом. Ночь пела свою заунывную последнюю песню о рано погибшем большом русском поэте, о еще одной страдающей душе, затерянной в этом огромном равнодушном мире. И казалось, что никто не мог спасти его от этого нескончаемого, трагического одиночества на чужой земле…

ОБ АВТОРАХ

Виктор Федорович Бандурко

Американский ученый-химик, доктор наук, родился в Сербии, Баваниште, в 1931 году. Окончил русскую школу, учился во 2-ом русском кадетском корпусе в Белграде. Работал в крупной американской фармацевтической компании «Johnson and Johnson». Автор 16 патентов и 12 научных работ в области медицины. Во время войны, в 1944 году бежал от Красной армии и временно попал в концлагерь Маутхаузен, в Австрии. В 1945 году находился в лагере для перемещенных лиц в Зальцбурге, откуда вместе с семьей был отправлен в Эфиопию, где отец получил работу врача. В 1952 году с сестрой Верой переехал в Америку. Активно участвует в кадетском движении. Спонсировал приезд в Америку и Канаду хоровых ансамблей из России и СНГ. Женат. Имеет 3 детей и 6 внуков.

Андрей Григорьевич Блох (род. ок. 1896 – умер после 1930).

Поэт, прозаик. Даты жизни и смерти точно неизвестны В эмиграции жил во Франции. Служил в Иностранном легионе (1920-е). Участник литературных парижских собраний «Зеленая лампа» (1929–1930), «Кочевье» (1929), журнала «Числа» (1931). Печатался в «Современных записках», «Русской мысли» и др. Выпустил в Париже сборники «Стихотворения» (1927) и «Поэмы и стихи» (1929).

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ ОБ АНДРЕЕ БЛОХЕ [29]

Андрей Блох, автор только что вышедшего сборника, немного известен читателям «Возрождения», в котором было напечатано несколько его стихотворений. Это – настоящий (хоть и очень еще неопытный) лирик, чуть-чуть старомодный, чуть-чуть щеголяющий своей простотой, но умеющий уже превращать и самую старомодность в прием, то есть сознательно ею пользоваться. Он не гонится за «современностью», любит внешнюю несложность, нарочито придает стихам своим легкую тусклость, но тем внутренне приятнее его стихи. Часто без резких фонетических ухищрений, но и без банального «благозвучия», ему удается быть музыкальным. Мне кажется, Блох учился преимущественно у Тютчева и Фета – отчасти у молодого Брюсова (эпохи «Шедевров»). Иногда его привлекают такие «устарелые», «оставленные» в русской поэзии формы, как сонет, рондо, как куплетное строение, но чаще он пользуется простейшими формами русского стиха, которые чрезвычайно подходят к внутреннему ладу его стихотворений. Блох мне кажется «двойным»: его стихи, как и мысли его, то зрелы, то упрощены, то очень изящны, то неуклюжи. То в них звучит то совсем молодой, то вдруг стариковский голос. Вообще, как принято говорить, он еще «не нашел себя». Если он установится, он может стать хорошим поэтом, но, признаюсь, и сейчас уже нравится мне в нем многое. Такие стихи, как «Далеко ли от нас», «Мчались по мосту, словно ракеты, во тьме поезда», «Мирный ресторанчик», «Замер вечер над долиной», «Вечер, снег и отблеск синий», «Отчего не умереть» – совсем хороши и могли бы сделать честь поэту, гораздо более искушенному.

---

[29] Ходасевич В. Первые сборники. // Газета Возрождение (Париж), том 3, № 891, 10 ноября, 1927.

Дмитрий Васильевич Бобышев

Поэт, переводчик, эссеист, профессор Иллинойского университета в г. Урбана-Шампэйн, США. Родился в Мариуполе, с детства жил в Ленинграде. В 1959 г. окончил Ленинградский технологический институт, 10 лет работал инженером по химическому оборудованию, затем редактором на телевидении. Писал стихи с середины 1950-х, публиковался в самиздате (в том числе в журнале Александра Гинзбурга «Синтаксис»). Дмитрий Бобышев – автор шести сборников поэзии: «Зияния», «Звери св. Антония» (совместно с Михаилом Шемякиным), «Полнота всего», «Русские терцины и другие стихотворения», «Ангелы и Силы», «Жар–Куст», «Знакомства слов», «Ода воздухоплаванию». Один из авторов-составителей «Словаря поэтов русского зарубежья» (СПб, 1999). В 1979 году в Париже вышла первая книга стихов Бобышева – «Зияния». В том же году Дмитрий Бобышев выехал в США, где живёт и сейчас – в городе Урбана-Шампэйн, штат Иллинойс. Он является также автором ряда поэтических переводов. В 2014 году в американском издательстве вышли три тома мемуарной прозы «Человекотекст». Печатается во многих эмигрантских и российских журналах. В начале 1960-х годов вместе с Иосифом Бродским, Анатолием Найманом, Евгением Рейном Бобышев входил в ближайший круг Анны Ахматовой

Александр Яковлевич Браславский (псев. Булкин)
(1891-прим. 1972)

Поэт, литературный критик, масон. Родился 27 апреля 1891, умер не ранее 1972. Литературный псевдоним А. Булкин. Третий муж *Е.А.* Бенуа, отец архитектора Петра Александровича Браславского (1930-1995). В эмиграции жил во Франции. Входил в литературно-художественную группу «Через» (1924). Основатель Союза молодых поэтов и писателей в Париже. Член Объединения поэтов и писателей. Участвовал в собраниях «Кочевья» (1928-1934), «Зеленой лампы» (1935). Публиковался в «Воле России», «Числах», «Современных записках». Выпустил в Париже три небольших сборника своих стихов (1926,1929,1937). Участник Второй мировой войны, добровольцем прошел с боями от озера Чад до Средиземного моря, в конце войны служил во 2-й бронетанковой дивизии генерала Леклера, освобождавшей Париж. Член Содружества русских участников движения Сопротивления (1947), генеральный секретарь Национального конгресса иностранных добровольцев и резистансов. Возглавлял Объединение иностранных добровольцев парижского района (1945-1947). Представитель аппеляционного суда (1932), судья ложи Гермес (1933-1934). Входил в состав ряда других масонских лож.

Борис Петрович Вышеславцев (1877-1954)

Русский философ, религиозный мыслитель. (1877, Москва – 1954, Женеве, Швейцария). В 1922 году эмигрировал из России в Германию, в Берлин, где до 1924 года преподавал в основанной Н.А. Бердяевым «Религиозно-философской академии», затем вместе с Академией переехал в Париж. В 1927 – 1943 годах – профессор Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже, где преподавал историю новой философии и нравственное богословие. Принимал участие в организации издательства YMCA-Press (Париж). С 1925 года – один из редакторов религиозно-философского журнала «Путь». Разрабатывал проблематику «философии сердца», антропологии, теории культуры. Его книга «Сердце в христианской и индийской мистике» (1929) – первая систематизирующая работа по православному пониманию проблемы. Знакомство с К. Юнгом привело Вышеславцева к увлечению психоанализом. Во время Второй мировой войны Вышеславцев переехал в Германию. Неприятие советской власти явилось причиной его участия в антисоветской кампании пропагандистских органов Третьего рейха и публикации в антикоммунистических сборниках. После войны, спасаясь от СМЕРШ, он был вынужден перебраться в Швейцарию. В 1950-е годы сотрудничал с Народно-трудовым союзом. Умер Вышеславцев в Женеве 5 октября 1954 года от «старческого» туберкулёза.

Леонид Иосифович Гатинский
(псев. Леонид Ганский, 1905-1970)
(фотография из архива Мари Стравинской)

Поэт, прозаик. Печатался под псевдонимом Леонид Ганский, настоящая фамилия Гатинский. Родился в 1905 году в Лодзи. Умер в 1970 году в Париже. Учился в киевской классической гимназии, затем жил и учился в Ленинграде. В 1926 эмигрировал в Париж. В 1932 год женился на поэтессе Татьяне Мандельштам (Штильман), сестре поэта Юрия Мандельштама. Был членом Союза молодых поэтов и писателей (с 1930), членом правления Объединения поэтов и писателей (с 1933). Выступал на вечерах этих организаций с чтением своих произведений, участвовал в диспутах. До войны печатался в журналах «Современные записки», «Числа», «Встречи», газете «Возрождение». После войны выпустил в Париже сборники «На весу» (1962) и «Слова» (1965). Похоронен рядом с женой, поэтессой Татьяной Штильман, на кладбище Пер-Лашез в Париже.

Надежда Даниловна Городецкая (1901-1985)

Писатель, публицист, доктор философии, профессор. Родилась в России в 1901 г – ум. В 1985 в Англии**).** Дочь литератора. Училась в Гатчине и в Полтаве. Покинула Россию в 1919 г. Жила в Югославии, переехала в 1924 г. во Францию. Занималась литературой и журналисткой. Автор романов «Несквозная нить», «Пара», «Дети в изгнании». В 1930-е гг. переехала в Великобританию. В 1934 прошла курс богословия в колледже Вознесения (Birmingham). В 1938 г. защитила диссертацию в Оксфордском университете. Преподавала русский язык, а позднее была руководителем Отделения славянских исследований в Ливерпульском университете. Основала дом св. Макрины в Бирмингеме для православных студенток (1939), не открывшийся из-за войны, и дом св. Григория Назианзина и св. Макрины в Оксфорде для православных студентов. С 1942 г. работала над докторской диссертацией в Оксфорде. Первая женщина, прочитавшая курс на богословском факультете. Доктор философии (1944). Лектор по русской литературе (1945-1956). Профессор Ливерпульского университета (1956-1968). Заслуженный профессор (1968). Многочисленные статьи в английских журналах. Читала лекции в американских университетах (в частности, в университете Беркли).

Георгий Дмитриевич Гребенщиков (1883-1964)

Русский писатель, критик, журналист, общественный деятель. Родился в селе Николаевский рудник на Алтае в семье горнорабочего. В 1894, не закончив начальной школы, начал самостоятельную жизнь. Перепробовав множество профессий, занялся журналистикой. В 1906 выходит сборник рассказов и очерков «Отголоски сибирских окраин». С 1909 ответственный секретарь журнала «Молодая Сибирь», В 1910 – 1911совершает этнографическое путешествия по Алтаю. Весной 1912 становится редактором барнаульской газеты «Жизнь Алтая». Издает двухтомник рассказов и повестей «В просторах Сибири». Начинает печататься в столичных журналах «Современник» и «Летопись», 1913-16 – повести «Ханство Батырбека» и «Любава». В них автор заявляет о себе как о незаурядном писателе-реалисте. С начала 1916 находится в действующей армии, начальник Сибирского санитарного отряда. В московских «Русских ведомостях» публикуются его репортажи и корреспонденции с фронта. В 1917 завершил первую часть своего главного произведения — романа «Чураевы», в котором нашли отражение волновавшие писателя религиозно-нравственные проблемы. Октябрьские события 1917 не принял. Годы гражданской войны провел в Крыму, сотрудничая в местной печати. В 1920 эмигрировал. Жил сначала во Франции, в Париже был тесно знаком с Н. Рерихом, Ф. Шаляпиным, К. Бальмонтом. В 1923 году совместно с Н. К. Рерихом создал книжное издательство «Алатас». С 1924 жил в США. В 1925 году в штате Коннектикут основал селение «Чураевка».

Елена Дубровина

Поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Родилась в Ленинграде. Уехала из России в конце семидесятых годов. Живет в пригороде Филадельфии, США. Является автором сборников стихов «Прелюдии к дождю» и «За чертой невозвращения», романов на английском языке «In Search of Van Dyck» и «Portrait in an Oval Frame», а также сборников рассказов «Portrait of a Wandering Soul», и «The Dying Glory». Составитель и переводчик антологии «Russian Poetry in Exile. 1917-1975. A Bilingual Anthology» Ее стихи и литературные эссе печатались в различных русскоязычных периодических изданиях, таких как «Новый Журнал», «Континент», «Грани», «Встречи», «Новое русское слово», «Литературная газета» и др. В течение десяти лет была в редакционной коллегии альманаха «Встречи». Является главным редактором американских журналов «Поэзия: Russian Poetry Past and Present» и «Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present». Последние годы пишет по-английски и публикуется в американской периодике. Ее стихи вошли в антологию английской поэзии «Liquid Gold». Рассказ «Solitude» («Одиночество») был номинирован журналом «Cantaraville» на лучший рассказ в интернете. В 2013 году Всемирным Союзом Писателей ей была присуждена национальная литературная премия им. В. Шекспира за высокое мастерство переводов.

ААлександр Карпенко

Поэт, прозаик, композитор, ветеран-афганец. Член Союза писателей России. Закончил спецшколу с преподаванием ряда предметов на английском языке, музыкальную школу по классу фортепиано. Сочинять стихи и песни Александр начал еще будучи школьником. В 1980 году поступил на годичные курсы в Военный институт иностранных языков, изучал язык дари. По окончании курсов получил распределение в Афганистан военным переводчиком (1981). В 1984 году демобилизовался по состоянию здоровья в звании старшего лейтенанта. За службу Александр был награжден орденом Красной Звезды, афганским орденом Звезды 3-й степени, медалями, почетными знаками. В 1984 году поступил в Литературный институт имени А. М. Горького, тогда же начал публиковаться в литературных журналах. Институт окончил в 1989-м, в этом же году вышел первый поэтический сборник «Разговоры со смертью». В 1991 году фирмой «Мелодия» был выпущен диск-гигант стихов Александра Карпенко. Гастролировал по городам США, выступая с поэтическими программами на английском языке. Снялся в нескольких художественных и документальных фильмах. Автор семи книг стихов и прозы, а также более ста публикаций в Журнальном и Читальном залах. Телеведущий авторской программы «Книги и люди» на «Диалог-ТВ».

Петр Евграфович Ковалевский (1901-1978)

Профессор, Лауреат Французской Академии Моральных и Политических Наук. Родился 16 декабря 1901 г. в Петербурге. Эмигрировал с семьей во Францию в 1920 г. В 1925 г. окончил Сорбонну. Жил в г. Ницца, затем переехал в Париж. Старший иподиакон митрополита Евлогия (Георгиевского). В 1921 г. по просьбе митрополита Евлогия организовал «архиерейский штат церковнослужителей» и руководил его работой. Доктор историко-филологических наук (Сорбонна, 1926). Преподавал в лицее Мишле в Париже (1926-1941), в Свято-Сергиевском богословском институте (латинский язык (1925-1949)), в Институте св. Дионисия, в Русском научном институте, в русском отделении Сорбонны (1931). Декан Института св. Дионисия. Основатель Общества ревнителей патриаршества. Активный член Русского студенческого христианского движения (РСХД) и Французского общества друзей Православия. Автор более 200 статей в русских и французских журналах и газетах. Скончался 27 апреля 1978 г. Биография и библиография П. Е. Ковалевского изданы в Париже в 1972 г.

Вадим Крейд

Поэт, историк литературы, переводчик, профессор-славист. Окончил Ленинградский и Мичиганский университеты. Докторская степень по русской литературе в 1983. Преподавал в Калифорнийском, Гарвардском и Айовском университетах. С 1995 по 2005 главный редактор «Нового Журнала» (Нью-Йорк). Автор и составитель более 40 книг о серебряном веке и литературе в эмиграции: «Образ Гумилева», «Поэты парижской ноты», «Александр Кондратьев. Боги минувших времен», «Ковчег. Поэзия первой эмиграции», «Воспоминания о серебряном веке», «Георгий Иванов. Книга о последнем царствовании», «Петербургский период Георгия Иванова», «Николай Гумилев в воспоминаниях современников», «О русском стихе», «Вернуться в Россию стихами», «Русская поэзия Китая», «Словарь поэтов Русского Зарубежья», «Русские поэты Америки. Первая волна эмиграции. Антология» и др. Автор сборников стихотворений «Восьмигранник», «Зеленое окно», «Квартал за поворотом», «Единорог». Стихи, статьи, эссе, проза – в российских, американских и эмигрантских периодических изданиях, альманахах и антологиях.

Наталья Крофтс

Поэт, переводчик. Родилась в 1976 году в г. Херсоне на Украине, окончила филологический факультет МГУ им. Ломоносова в России и магистратуру Оксфордского университета в Англии. Живёт в городе Сидней, Австралия. Автор двух поэтических сборников. Стихи, статьи, рассказы и переводы. Н. Крофтс публиковались в русскоязычной периодике и коллективных сборниках (в журналах «Нева», «Юность», «Новый журнал», «Работница», «Интерпоэзия», «Новый берег», в «Литературной газете» и др.). Стихи на английском опубликованы в четырёх британских поэтических антологиях. Лауреат ряда международных литературных конкурсов («Согласование времён», «Золотое перо Руси», «Цветаевская Осень», турнир «Пушкин в Британии» и многих других). В 2012 году сборник стихов Н. Крофтс «Поэт эпохи динозавров» вошёл в список «65 лучших книг года» в России, а в 2013 году – в длинный список премии «Литературной газеты» им. Антона Дельвига. Главный редактор литературной газеты «Интеллигент. Санкт-Петербург», сотрудник старейшей русскоязычной газеты Австралии «Единение», основатель и куратор портала «Русская литература Австралии», член редколлегий русскоязычных литературных изданий России, Германии, Финляндии и США.

Павел Павлович Либеровский (1929-2010)

Живописец и график. Родился в1929 в Югославии – умер в 2010 а Монреале, Канада. Из семьи русских эмигрантов в Югославии. Окончил русскую гимназию и Академию Художеств в Белграде. С 1954 жил в Канаде. С 1967 работал штатным художником в газете «Montreal Star». На протяжении ряда лет приглашался как художник на временную работу в канадских национальных киностудиях в Монреале. Работал иллюстратором для издательств «MacMillan» и «Random House». Был постоянным прихожанином Русского кафедрального собора свв. апп. Петра и Павла в Монреале.

Юрий Владимирович Мандельштам (1908-1943)

Поэт и литературный критик «первой волны» эмиграции, участник ряда литературных объединений Парижа. Родился 8 октября (по новому стилю) 1908 г. в Москве, погиб 15 октября (ошибочно считают 18 окт.) 1943 г. в Освенциме в Польше (Яворжно). Уехал с семьей из России в 1920 г. Окончил русскую гимназию с серебряной медалью в 1925 г. и в 1929 г. филологический факультет Сорбонны. Знал несколько иностранных языков. Писал критические статьи для русских и французских периодических изданий (написано более 350 статей). Принимал активное участие в «Содружестве поэтов и писателей Парижа», «Зеленой лампе», «Перекрестке» и др. кружках. Часто выступал с докладами и чтением своих стихов. В 1936 г. женился на старшей дочери Игоря Стравинского, Людмиле Стравинской и перешел в православие. Вскоре после рождения дочери Китти, Людмила умерла от туберкулеза. Смерть жены оставила тяжелый след в душе поэта. Ей он посвятил свои лучшие стихи. После смерти В. Ходасевича в 1939 г. вел критический отдел газеты «Возрождение». При жизни вышли три сборника стихов «Остров» (1930), «Верность» (1932) и «Третий час» (1935), и книга статей «Искатели» (1938) была издана в Шанхае. Книга стихов «Годы» была напечатана посмертно в 1950 г. и в 1990 г. в Гааге вышло полное собрание стихотворений Ю. Мандельштама. Журнал «Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present», №2, 2015 полностью посвящен памяти поэта и составлен совместно с его внучкой Мари Стравинской. Сестра Юрия Мандельштама – поэтесса Татьяна Штильман (Мандельштам-Гатинская).

Иван Павлович Умов (1883–1961)

Поэт бунинской школы родился в родовом имении отца на берегу Волги. Иван Павлович Умов, потомок декабриста и героя Плевны (Русско-турецкая война конца XIX века), продлил военную карьеру своих предков в Симбирском кадетском корпусе, после окончания которого поступил в военно-инженерное училище в Санкт-Петербурге, где, наряду с обучением по общей программе, успешно занимается переводами Омара Хайяма. По окончании Московского Лазаревского института в 1913 г, где он изучал восточные языки, был назначен вице-консулом в Александрию. После революции остался в эмиграции, в Египте. Знал десять языков: пять западных – французский, английский, немецкий, итальянский, испанский; и пять восточных – арабский, персидский, грузинский, турецкий, сирийский. Окончил в Лондоне консерваторию по классу фортепиано, преподавал в Александрии музыку, выступал с концертами. У Умова было четверо детей: трое сыновей и дочь Катя – вместе с братом составляла основу Александрийского симфонического оркестра, была хорошей балериной. Катя умерла в 29 лет, неудачно упав и ударившись виском. Могилы отца и дочери на кладбище Шетби находятся рядом. Вилла Умовых, находившаяся в центре Александрии, в начале 60-х годов прошлого века была национализирована режимом Насера. Его потомки сегодня живут в Швейцарии.

Нора Файнберг

Поэт, писатель. Родилась в Москве. С 1978 года живёт в штате Пенсильвания, в пригороде г. Филадельфия, США. Работает врачом. Наряду со своей основной профессией, занимается литературной деятельностью. Ей принадлежат романы и повести «Белая сирень» (1984), «Дальше ты пойдёшь один» (1986), «И дождь пройдёт» (1990), «Александритовый перстень» (1996), «Поздняя осень в Дженкинтауне» (1998), «На руинах готики» (2006), «Укрощенье Кентавра» (2008), «Кривая судьбы» (2010), «Учитель» (2015), а также ряд сборников поэзии: «Свет и тени» (1994), «Следы на песке» (1997), «Post Mortem» (2001), «Облака» (2004), «По клавишам судьбы» (2006). Печатается в русскоязычной периодике. Ее стихи вошли в сборник «Триада». Нора Файнберг – участник антологии «Строфы Века: Мировая поэзия в русских переводах» (М. 1998).

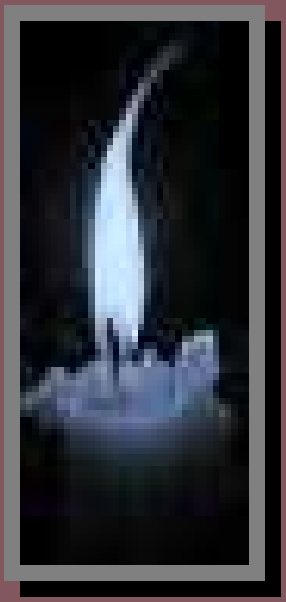
Князь Иван Сергеевич Хвостов (1889-1955)

Поэт. Родился в 1889 году в имении «Воронец» Елецкого уезда, Орловской губернии. Скончался в Аддис-Абебе (Абиссиния) в 1955 году. Он был сыном Пензенского губернатора Сергея Алексеевича Хвостова, погибшего в августе 1906 года, во время покушения на Столыпина, на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге. Семья принадлежала к старинной дворянской ветви рода Хворостовских. В 1909 году Иван Сергеевич окончил Императорский Александровский Лицей с золотой медалью. Еще с юных лет начал писать стихи. Сама жизнь и обстановка Лицея вызывала поэтические настроения. Стихи Хвостова вызывали при жизни восхищения его друзей. Военную службу отбывал в Лейб-Гв. Семеновском полку, по окончании которой выдержал экзамены на должность Прокурора и поступил на службу в Министерство Юстиции. Женился он в 1912 году на юной девятнадцатилетней графини Наталии Владимировне Татищевой. У них было три дочери. В эмиграции первая дочь вышла замуж за русского инженера, вторая – за итальянского адвоката, третья – за французского дипломата. С объявлением в 1914 году войны Иван Сергеевич возвращается в свой Семеновский полк и выступает с ним на фронт, где получает тяжелое ранение. У него парализовало правый глаз и ему пришлось работать в штабе Московского Военного Округа в отделении военной цензуры (он блестяще владел четырьмя языками).

В 1918 году он был приговорен большевиками к расстрелу. Он уже стоял в шеренге, готовой к расстрелу, когда неожиданно расстрел был отложен. Три раза должны были его расстрелять, и три раза расстрел не состоялся. Получил он свободу, бежав из тюрьмы. С организацией на юге России добровольческой армии он добровольно явился туда и создал в Крыму Первый Добровольческий Полк по охране вдовствующей Государыни Императрицы Марии Федоровны. Этот период жизни он описал в ряде стихов, под названием «Белая рать». Три его брата погибли в добровольческой армии. Русскую землю Иван Сергеевич покинул одним из последних, сражаясь до конца. С переходом Добровольческой Армии на положение эмигрантов, И.С. переселяется в Париж, откуда позже переезжает в Германию. В 1924 году он окончательно уезжает в Абиссинию. Здесь он работает адвокатом. Он перевел с французского на абиссинский язык Гражданский Кодекс Наполеона. Он был блестящим юристом, по воспоминаниям друзей – выдающимся по своему уму и доброте человеком. В 1927 году ему удалось создать первую русскую домовую церковь, что было большой радостью для всех русских, проживающих в Аддис-Абебе. После его смерти писали: «Его кончина всех потрясла: русских, иностранцев проживающих в Эфиопии, которые его называли “Божий человек”». Первое его стихотворение появилось в «Календаре», издаваемом Союзом Русских Военных Инвалидов, затем стихи его появились в «Православной Руси», «Нашем журнале», «Родные перезвоны». «Песни Альконоста» – посмертный сборник стихов, изданный на средства друзей издательством «Родные перезвоны» в Брюсселе в 1960 году. Стихи были переданы вдовой поэта, Натальей Владимировной Татищевой. В предисловии к книге, П. Ковалевский (один из ее составителей) пишет: «Иван Сергеевич Хвостов не принадлежит ни к одной из зарубежных групп. Он был *поэтом отшельником*, оторванным от литературной среды. Но тем сильнее, и часто скорбнее, звучат его слова о далекой родине…» и далее: «И. С. Хвостов не принадлежит ни к какой поэтической школе. Вся его поэзия есть отголоски великих русских поэтов, строки навеянные Тютчевым, но он не стремился создать что-то новое, занять место поэта. В своих стихотворениях он изливал свою душу, и только после его смерти через его творчество вполне выявился образ этого рыцаря долга и чести». [30]

---

[30] Редколлегия журнала благодарит Виктора Федоровича Бандурко за предоставленный материал об Иване Сергеевиче Хвостове и Иване Павловиче Умове.



ISBN-13: 978-1523879014
ISBN-10: 1523879017